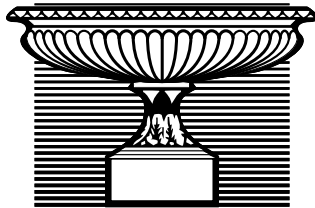


АЛТАЙ

2/2020



Художники — участники Великой Отечественной войны

Михаил Будкеев (1922-2019)



Натюрморт «На пасеке». 1982

ДВП, масло. 123x105. Собственность ГХМАК

Издается с 1947 г.

А Л Т А И



МАЙ

2/2020

*литературно-художественный
публицистический
культурно-просветительский
журнал*

16+

ЖУРНАЛ «АЛТАЙ»
№ 2, 2020

Редакционный совет:

Безрукова Е. Е. (председатель совета)
Вигандт Л. А. (главный редактор)
Габдраупова Ф. А. (Барнаул)
Жданов И. Ф. (Барнаул; п. Симеиз, Крым)
Кирилин А. В. (Барнаул)
Клишина Е. М. (Барнаул)
Колокольников С. В. (Барнаул)
Котеленец В. С. (редактор отдела поэзии)
Кудимова М. В. (Москва)
Курбатов В. Я. (Псков)
Малыгина А. С. (Барнаул)
Николенко Н. Г. (Барнаул)
Пономарёв П. В. (выпускающий редактор)
Скрипин Е. В. (Барнаул)
Чернышков Д. В. (Бийск)

Учредитель журнала:

Краевое государственное
бюджетное учреждение
«Алтайская краевая
универсальная научная
библиотека
имени В. Я. Шишкова»

Адрес редакции и издателя:

656038, Алтайский край,
г. Барнаул,
ул. Молодежная, д. 5,
тел.: (3852) 506-628,
e-mail: altai-journal@mail.ru

Верстка:

Четырина Н. П.

Корректор:

Берглизова Т. П.

Оформление обложки:

Александр Кальмуцкий

Издание зарегистрировано в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ22–00569 от 22 сентября 2015 года.

Тираж 1600 экземпляров. Дата выхода в свет: 25.05.2020. Распространяется бесплатно.

Адрес типографии: ООО «Издательский дом «Алтапресс». 656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107, тел. 658197, print@altapress.ru.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций.

Их мнение может не совпадать с точкой зрения редакции.

При цитировании материалов без согласования с редакцией ссылка на журнал обязательна.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

- Александр Леонтьев.** Сад бабочек. Выставка. Вырица. Провинция Империя. Капелла Медичи. Библиотека..... 22
- Сергей Филатов.** «Опять гнилая осень на дворе...». «Есть причины платить по счетам...». «В краю, где слово Родина — под гнётами идей...». «По жизни — автостопом и пешком...». «Древнее поле запущенно наглухо...». Часы. «Вначале было Слово...». «В общежитии, где ангелы гостят...». «Всё столь ожидаемо, сколь и неожиданно...». «Дождём пролита роща светлая...»..... 35
- Виктор Коврижных.** Знамение. Ночь Гоголя. Старая кузница. Реки Алтая. «Рассыпай, балалайка, аккорды...». После грозы. Там, в народной глуши... «Притихнут цветы во саду-огороде...» 65
- Александра Вайс.** Экстремальная кухня. «Так странно дети учатся писать...». «доченька не отходи возьми за ручку...». Барнаул. «Всех накроет одной волной...». «Ветер сменился — пугает, воеет...». «Что-то пошло не так в самом начале...». «Ты замерзаешь в +15...». Чужая квартира. «Он мучительно ждёт признания...». «фонарь, нарисованный на стене...». Послететнее на выдохе... 101
- Сергей Комаров.** «Мы не хотим мальчика...». Торжество земледелия. «Безраздельность железной кровати, упёршейся в ночь...». Неотправленные письма дочери. «Чего так ждуг твои поля...». «Чтоб облегать меня... » 127

Проза

- Галина Ершова.** Дерево. *Рассказ*.....5
- Амирам Григоров.** Котел из Тбилиси. *Рассказ*..... 13
- Марина Кудимова.** Ардагов. *Фрагменты романа*..... 42
- Геннадий Клепиков.** То было раннею весною...Третья. *Рассказы*..... 73
- Ирина Ордынская.** Город миллиона роз. Пять женских монологов с линии огня 85
- Владимир Левченко.** Часики на божничке. *Рассказ* 109
- Ольга Исупова.** Кот Амстера. *Рассказ*..... 136

Дебют

- Павел Корнеев.** Бабаран. Далекое путешествие. Хорошее питание. Опять ты. *Рассказы*..... 119

Очерк

Любовь Наумова. Они нас ждут 151

Шукшиниана

Александр Куляпин. Изгнанник из книжного рая: человек читающий
в художественном мире В. М. Шукшина 156
Дмитрий Марьин. Шукшин под маской 164

Критика. Литературоведение

Светлана Кекова, Руслан Измайлов. Вавилон или Иерусалим? Историософия
«смутного времени» в русской поэзии 1990 годов 174
Наталья Завгородняя. Сюжет городской охоты в творчестве Андрея
Коробейщикова 190

Книжный двор

Михаил Гундарин. Гигиеническая проза. Новые «Дети Арбата».
Мечты оппозиционера. Печальная история. Генерал без армии. Держаться
корней. *Рецензии* 196

Галина Ершова

Родилась в 1995 году в Барнауле. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет (история искусств). Учится в магистратуре НИУ ВШЭ (литературное мастерство). Публиковалась в журналах «Алтай», «Культура Алтайского края», «Роман-газета», «Нева». Живет в Москве и Барнауле.



ДЕРЕВО

Первый снег пошел тяжелый и влажный. Крупными хлопьями облеплял он деревья, нагромождение гаражей, железные закорючины детской площадки, как будто в муке обваливал печенье, и все становилось торжественным, строгим и нездешним. «Летесел и таял», — промычал Юрлов и посмотрел с балкона вниз на запорошенный, немного игрушечный, как ему показалось, двор. Воздух сразу как будто простерилизовался от этого снега, стал звонким и острым, и Юрлову было даже немного жалко выпускать в него клубок сигаретного дыма, который, прежде чем раствориться, повисал ленивым, никуда не торопящимся облаком. Юрлов оглянулся — за балконной дверью на кухне металась Люба с придавленным к уху плечом телефоном — от плиты к столу, от стола — к мусорному ведру, как белка, быстрая до суетливости в своей мелкой моторике. Она и говорила так же — скороговоркой, и тогда мелкие-мелкие зубы россыпью неровного речного жемчуга сверкали между ее пухленькими, как у рыбки, губами. Любка и снег, снег и Любка

— как круги Эйлера, сближались они, покачиваясь, пока в какой-то момент не наплыли друг на друга, и на их пересечении возникло оно — слово «дубленка». Юрлов долго не мог понять, откуда этот сквознячок в душе, что это такое свищет, как струйка воздуха в спущенной шине, пока вдруг не понял, что снег есть, а дубленки у Любы все еще нет. Он затянулся напоследок, как перед казнью, потушил сигарету и зашел внутрь.

Пахло поджаркой — морковка и лук — для супа, и стало как-то стыдно — мол, она ему — супчик, второе, а он ей — фигу с дрыгой. Не поднимая глаз, Юрлов проскользнул в зал, взял гитару и лег с ней в обнимку на диван. Из всех углов, как огненные буквы на пиру Валтасара, сияло слово «дубленка». По телевизору, который никто не смотрел, но при этом и не выключал, крутили объявление: «Только с 5-го по 15-е ноября в ДК Сибэнергомаш ярмарка шуб и дубленок «Меховой рай»! Цены от производителя. Не упустите свой шанс!» Сквозь фоновый шум телевизора, шипение масла на кухне и наигрыш на гитаре (Юрлов все пытался подобрать аккорды к строчкам «Я знаю — мое дерево не проживет и недели. Я знаю — мое дерево в этом городе обречено») было слышно (голос тонкий и высокий, как если вдохнуть гелий из шарика), как Люба трещит по телефону (было неясно, понимает она, что ее слышно или нет): «Тань, да он деталь даже никакую с завода не может вынести на продажу. Да все носят, идут спокойно через проходную, а он заладил — неправильно, нечестно. Да че ты хочешь, я ему костюм сама купила, когда мы в ЗАГСе расписывались. Че делает? Да ниче, хоть бы сходил паспорт менял, сорок пять лет же недавно справили. Там же только фоткаться сначала надо, а он с утра говорит: "Не, я седня опять какой-то опухший"».

Юрлов почему-то даже не обиделся. Он поднялся, отодвинул гитару, которая издала грустное «трынь» и полез в книжный шкаф. В шкафу — Гумилёв, потерто-синий с корабликом на обложке, в Гумилёве — конверт, в конверте — записка. Пересчитал — все правильно, с каждой зарплаты отложено по тысяче на черный день. Да, собственно, почему на черный, что он, в конце концов, не может какую-то дубленку своей жене купить?

Они шли по юному, невинному снегу, неосторожно наруша-

ли его первозданность, оставляя две цепочки темных следов — больших и поменьше. А снег все летел, ложился белой вуалькой на Любины выпущенные черные волосы, запылил коричневые синтепоновые пуховики Юрловых так, что они, оба невысокие и плотные, были похожи на сдобные пышки, присыпанные мукой или сахарной пудрой. Доска объявлений возле ДК была сплошь оклеена вывесками, живого места не было: тут тебе и выставка кошек, и массовый тренинг личностного роста, и выступление победителя последней «Битвы экстрасенсов». Сегодня, однако, в ДК были не кошки и не экстрасенсы, а шубы с дубленками. Юрлов решил, что все как-то сразу должны догадаться, что денег у него немало и намерения серьезные, он даже погладил карман брюк, где лежал припухший от скопленных зарплат конверт. Ему хотелось, чтобы продавцы, как в фильме «Красотка», когда уже стало ясно, что герои нескромно богаты, любезно приплясывали вокруг них, не зная, что бы еще такого предложить. Но в ДК внимания на них никто не обратил, не подошел услужливо с заискивающей улыбкой и вопросом: «Чем я могу вам помочь?», поэтому Юрлов сразу как-то сдулся, погрузился. Огромное, как футбольное поле, пространство ДК было уставлено алюминиевыми вешалками, с которых гроздьями свисали меха и шкуры. Люба растеклась и размякла, как подогретое сливочное масло, от этого благолепия. Юрлову ударил в нос стойкий животный кожаный запах, который показался ему особенно неприятным, уводящим его куда-то на скотобойню, куда он во время летней грозы в деревне случайно забежал с соседским Лёвкой в далеком 83-м. Он снял черную, вязаную в рубчик шапочку, промокнул ей лысину и как-то тяжело, с присвистом отдулся, как будто прошел долгий, непростой путь. Люба повела в сторону Юрлова глазами, курносый носиком и затарахтела: «Колясик, давай я только несколько моделей примерю, а если ничего не подойдет, то так уж и быть, в другой раз».

Ярмарка была с грифом «социальная», поэтому вместо стройных барышень в узких юбках там орудовали коренастые тетеньки в синих, как у техничек, халатах. Они ходили по залу важные, сосредоточенные, с большими железными рогатинами, которые они запускали, как китобои гарпуны, в самую глубь мехового

месива и вытягивали подцепленный улов — шубу или дубленку. Люба мерила прямые, приталенные и в форме трапеции, без оторочки и отороченные мехом енота или лисы, на молнии, пуговицах и с запахом, с капюшоном и без, с простыми рукавами и укороченными, в три четверти, под змеиную кожу и даже с пайетками. Люба уплывала от Юрлова все дальше и дальше. Постепенно она уходила под дубленочный вал, как утопающий, которого невозможно спасти, и скрывалась, навсегда погребенная в этой пучине. Люба, вешалки, женщины в синих халатах качались и плыли в мировом океане меховой индустрии до тех пор, пока Юрлов не подошел к жене и не сказал: «Любань, ты еще померь тут немного, а я пойду покурю». Увлеченная примерочным азартом, она едва ли заметила исчезновение мужа.

Юрлов втянул звонкий, холодный, но не до злости, воздух, как нашатырь, и выплыл на поверхность. Запахи, звуки, цвета снова становились свойствами вещей, снова наполняли их объемы и формы. Он не курил, он просто дышал. Дышал долго, глубоко, прочувствованно, а потом побежал. Побежал мелкой трусцой на остановку, бежал и оглядывался. Думал, что, как побежит, так из ДК сразу выскочит Люба в дубленках, а за ней — женщины в синих халатах с рогатинами, и гаишник засвистит, и движение прекроют. Обидно это было или нет, но на бегство Юрлова никто не обратил внимания, не повел головой ему вслед ни один прохожий, ни одна снежинка не изменила траекторию полета. Судьба сегодня благоволила Юрлову, боги нарушенных планов и иррациональных поступков были за него — подкатил бело-красный, замызганный 55-й, бывший когда-то, как почти весь общественный транспорт в этом городе, немецким автобусом, и вобрал Юрлова в себя. Юрлов ехал и улыбался слабоумной улыбкой школьника из класса коррекции, когда представлял, как Люба, наконец перемерив все дубленки, обнаружит пропажу Юрлова, как высветится на его телефоне двадцать восемь пропущенных вызовов. Он протер кругляшок в запотевшем стекле и смотрел, как сменяются дома на главном проспекте — сталинки на хрущевки, хрущевки — на частный сектор. Юрлов вышел на «Институте им. Лисавенко» — с одной стороны лес, знаменитый ленточный бор, куда еще школьником он ходил на экскурсии —

изучать разные виды вечнозеленых растений, с другой — голая степь, посреди которой кибиточка с надписью: «Сажены. Рассада. Семена». Юрлов пошел в сторону кибитки. Конверт в правом кармане брюк как будто нагрелся и сквозь ткань слегка жег Юрлову ногу. Развернуться что ли и обратно к дубленкам?..

В кибитке было тепло и весело пахло хвойными. За прилавком сидел мужичок — клетчатая рубашка, борода, кустистые брови. «Дед-лесовик», — подумал про себя Юрлов. Долго выбирать не пришлось, он его сам выбрал. Другие были какие-то косенькие, кривенькие, то лысоватые, то с пожелтевшими иголками, а этот — зеленый, бодрый, прямой. Это еще пока, конечно, не кедр, а только саженец, птенец, но из него — Юрлов это точно знал — вырастет большое, сильное и гордое дерево. Он махнул головой на выбранный саженец и отсчитал деду-лесовику деньги. Конверт сильно похудел, Юрлову взгрустнулось, но ненадолго, потому что он тут же представил, как обрадуется, то есть обрадовался бы, Коршунов его кедр.

Идти тут недолго — всего две остановки вдоль Ленточного бора — и тут же Лосихинское кладбище. Главное — успеть, пока еще день совсем не потух. И еще одно главное — найти лопату, непременно найти. Первым делом Юрлов решил идти в охранную сторожку — уж там-то точно должно все быть. Лопаты, конечно, были у кладбищенского сторожа, а совести, оказывается, не было.

— А я говорю — не дам!

— А я говорю — дайте! Ну, что вам стоит? Жалко, что ли?

— Не жалко, а не положено. Лопаты выдаются только по разрешению могильщикам-копальщикам.

— А, так ты денег, может, просто хочешь, так давай я дам, сразу бы сказал.

— А это уже взятка! Или вы сейчас покинете служебное помещение, или я полицию вызываю.

— Вызывай-вызывай! Тем более к тебе вон в окно кто-то лезет!

— Кто лезет? — отвернулся сторож

Юрлов схватил первую попавшуюся лопату и утек. Дорогу он вроде бы помнил — прямо по лесной тропинке до памятника с ангелом с большими резными крыльями, потом налево, участок

13Б. Так и есть — большой деревянный крест, на кресте — табличка, на ней выгравировано: «Здесь покоится тело Владимира Михайловича Коршунова». Юрлов, правда, очень хотел, чтобы на табличке написали, что здесь покоится не просто тело, а тело русского поэта, но родственники почему-то заупрямились, сказали, что нехорошо, нескромно. Но от этого он поэтом-то быть не перестал. Правда, не очень удачное место выбрали, похороны организовывал Союз писателей, что-то они там замяли, напортачили. Во всем лесном кладбище выбрали самый безлесный участок, и Юрлов как друг, да что там говорить, как лучший друг, решил посадить на могиле настоящий сибирский кедр. Фотографии на кресте не было — сам Коршунов не хотел, что, мол, не христиански это, что Бог все равно всех узнает без фотографии (хотя отношения с Богом у него были путаные). То ли бывшие ученики, то ли бывшие женщины Коршунова (черт их знает, и те и другие бегали за ним толпами) принесли все-таки фотографию в рамочке, откуда он смотрел своими молодыми, лукаво-хитрыми, болотного цвета глазами и гладил огромного кота Барклая. Между двумя четырехзначными цифрами под надписью на слабо поблескивающей табличке — прочерк — линия жизни Коршунова. Что это с математической точки зрения — отрезок, луч или прямая? Если все-таки прямая, расходящаяся в оба конца от минус до плюс бесконечности, то где-то на расстоянии подсолнечного семечка от правого края должна стоять точка, в которой они говорили последний раз на лавочке у кардиоцентра. Юрлов втихоря таскал Володе сигареты, Коршунов жаловался: «Коль, залечат они меня тут до смерти, а что дальше — не знаю», — «В каком смысле — не знаю? Ты же вроде покрестился», — «Да покреститься-то я покрестился, а все равно не знаю. Ну, Бог есть, в это я верю, а что там что-то за чертой — как-то сомнительно все это, труднодостижимо. Ты представь, сколько тогда душ должно существовать, сколько это их нужно, как в резервации, сохранить — мириады». Странно все это, но если вдруг каждому и впрямь должно достаться по вере, то неужели Коршунову досталось небытие, холодное, равнодушное, как ржавый пустой бак, когда из него осенью на даче спустили всю воду? Поэт Володя Коршунов писал, как здорово искать и находить камни, покрытые мхом

и лишайником, как солнце ложится спать в ложбинку между горами, как плотно смыкаются вокруг тебя в объятиях сосны, когда ты сидишь промозглой августовской ночью у костра и как искры этого костра выстреливают высоко-высоко в небо, как будто желая присоединиться к Млечному Пути или Большой Медведице, а тут на тебе — небытие. Юрлов поежился.

В середине прямой (Или все-таки луча? Должно же быть какое-то условное обозначение начала) — другая точка. Среди ночи дежурного сторожа детского сада Юрлова (он тогда калымил) разбудил телефонный звонок. Из какофонии звуков плохой связи проступали, как черепки керамики у археологов, островки ясности — знакомый голос Серого хрипел про какого-то Коршунова и мертвую тещу. Юрлов проснулся окончательно и собрал из свалившегося на него звукового хаоса смысл — Коршунов, сменщик Серого по кочегарке, заболел, лежит в гриппозном бреде в этой проклятой кочегарке, а Серый уехал хоронить тещу в Тальменку. «Так что, мне ему лекарства нести? Денег у меня нет», — сторож Юрлов заслонился забором бесчувственности, чтобы не впасть в излишнюю филантропию. «Не, он живучий, как собака, ты просто сходи на час-другой, протопи за него, а то уволят». Юрлов, сам не зная почему, чувствовал себя неловко в роли сестры милосердия. Покидав уголь, спросил: «Жив?». Жив. Следующим вечером зашел с медом и лимоном, неуклюже пошутил что-то про лазарет. Еще через день Коршунов прочитал ему свои последние и, как ему самому казалось, лучшие стихи. Юрлов, окончивший местный сельхозинститут, был жаден, как булимик у шведского стола, как бабник в женском коллективе, до рифмованных слов, записанных в столбик, ему представлялось, что это особая безнотная форма музыки. Был жаден и порой неразборчив. Но тут ему показалось, что он встретил что-то настоящее, что все современное, что он читал до этого, было только неудачной попыткой перевода с универсального мыслительного языка на русский.

Юрлов бросил шарф и шапку на землю, чтобы легче было рыть лунку для кедра. Сначала смахнул легкий, как Володин характер, слой снега, потом вгрызся в стылую, уже отлюбленную летним теплом землю. Поставил в середину лунки саженец, стал забрасывать землей корни. Вдруг кто-то запел: «Это все, что оста-

нется по-осле меня, эээ-то все, что возьму я с собой...». Это мобильник запел, вот что. Курносенькая брюнетка на экране — Люба. Который пропущенный? Пятнадцатый? Не слышал в транспорте, и не надо, есть кнопка «откл», Юрлов чувствовал себя всемогущим (ну, или, по крайней мере, очень сильным) в такие моменты.

Коля Юрлов посмотрел сквозь стущающиеся кладбищенские сумерки на свой саженец и решил, что это хорошо, и понял (хотя бы отчасти) радость Господа в дни творения. На кладбище ему было почему-то совсем не страшно. Он обмел тонкий слой снежинок с Володиного креста и с его портрета в рамке (они смешно залепили ему лицо), и сам лег — между кедром и Володей. Коля сначала закинул руки за голову, а потом стал делать руками-ногами — туда-сюда — снежного ангела, как когда-то в детстве, вверху летел самолет (недалеко был аэропорт) и подмигивал сигнальными огнями не то чтобы Юрлову, но вообще, и Юрлов тоже на всякий случай ему подмигнул, а потом своими несильным, почти что тонким голосом стал напевать: «Я сво-бо-дееен!» Юрлов очень надеялся, что Володя как-нибудь ответит — промелькнувшей птицей или хотя бы упавшей рябиновой гроздью, но Володя молчал.

Амирам (Вадим) Григоров

Из Баку. Окончил РГМУ (медико-биологический факультет). Учился в академии Торат Хаим, в аспирантуре ММА им. Сеченова, в литературном институте им. Горького и т. д. В настоящее время работает в океанариуме. Пишет стихи, прозу, сценарии, активный блогер. Стихи и проза Григорова переводились на иврит, армянский и грузинский языки.



КОТЕЛ ИЗ ТБИЛИСИ

*Добро и богатство в его доме,
и его милостыня стоит вечно*
Теилим 112; 3

Помню, как дед мой, в длинном, почти до земли, габардиновом плаще, зажав губами пустой мундштук, ходил, разглядывая товар на тбилисской барахолке, возле моста через Куру. Вокруг на расстеленных тряпках стояли самовары, хрустальные вазы, картины, написанные в подражание Пиромсани, потемневшие зеркала в стиле модерн, фотографические портреты Сталина, латунные подсвечники, мельхиоровые подстаканники, и все прочее, созданное за целый век и успевшее подернуться пленкой увядания.

Иногда дед останавливался и рассматривал. Раз он приценился к шахматам без ладьи и двух пешек, выставленным маленьким седовласым гурийцем. Гуриец заломил неслыханную цену, дед решил ее сбить, и они стали спорить, постепенно входя в раж.

Это продолжалось так долго, что я успел заскучать и принялся рассматривать соседний развал — там продавался гобелен, на котором прекрасный махараджа в тюрбане похищал из серала пышнотелую красотку в розовом лифчике и кисейных шароварах. В конце концов, дед довел почтенного гурийца до белого каления, и тот стал совать деду в руки свои шахматы, добавив к ним бюстик Дзержинского, с криком:

— Бэри так, забирай, только уходи! И это тоже бэри, все бэри!

Но дед не взял. Ушел, качая головой, сказав мне чуть позже:

— Что за интересные люди эти грузины, слушай?

Так мы и бродили бесцельно, пока в один момент дед не заметил крупный медный котел, покрытый зеленоватыми разводами, лежавший среди всяческого лома. Заглянув в этот котел, дед достал из кармана связку ключей и принялся скоблить его ключом. Лицо его посветлело, и, не торгуясь, он выложил ушлому молодому тбилисцу всю запрошенную сумму, и котел перешел к нам.

Потом мы сидели в хинкальной близ вокзала, якобы той самой, где Есенин с Табидзе ели хаш и пьяный грузинский классик зашвырнул свою кепку прямо в казан. Был вечер, за соседним столиком пировали упитанные сваны, розовые, как младенцы после купанья, от водки, и невероятно громко, перебивая друг друга, обсуждали свои дела. Поев хинкали, мы пили чай, и дед мой, выдержав небольшую паузу, жестом фокусника извлек из кулака шоколадную конфету. Я сделал круглые глаза, хоть знал наизусть этот трюк, и даже видел, как дед покупал эту конфету у армянки, владелицы кондитерского рундука.

Потом, когда мы шли к автобусу, я попросил купить надувной шарик, и дед произнес с неудовольствием:

— С ума сошел? Тебе что, пять лет?

Я ответил, что в шарике тбилисский воздух, и значит, часть этого города останется с нами. Дед покачал головой, но купил, ничего не говоря, и мы, с котлом и шаром, поехали в Баку.

В пути я спросил деда, зачем он скоблил котел. Дед вытащил котел на свет и спросил:

— Смотри внимательно, что видишь?

Приглядевшись, я увидел, что на стенках котла — плохо различимые из-за пленки окислов — нанесены уровни в виде насечек, и напротив каждого идет надпись, нацарапанная еврейскими буквами.

— Вот посмотри, тут написано: рис и плов, баранина и плов, и так далее, да. До этого места нужно сыпать рис, если плов делаешь, до этого — баранину класть. А тут написано, сколько шафрана надо, сколько лука. Ты даже не знаешь, каких денег это стоит! Сюда смотри!

Я посмотрел на дно котла, куда указывал дубленный временем дедов палец, и увидел, что все дно котла исписано.

— Тут говорится, что в субботу нельзя готовить, а еще пожелание здоровья и счастья. Вот как люди раньше делали, с пониманием делали!

Позже, уже дома, дед долго и аккуратно чистил попку медной проволокой, полировал особым, мелким песочком, до тех пор, пока котел не засверкал. Странно, но ни разу, на моей памяти, мы в нем не готовили. Иногда, когда дома никого не было, я снимал с антресолей этот предмет, сияющий, как золотой самовар русского царя, и подолгу рассматривал, вода пальцами по надписям на дне и стенках, представляя его набитым пиратскими червонцами или ломящимся от мусульманских сокровищ из «1000 и 1 ночи».

Племянник деда, по имени Адик, положил на котел глаз, и, бывая у нас, он нудно его выклянчивал, придумывая все новые поводы заполучить, — то врачи велели ему есть из медной посуды, то мать его, Сара-ханум, якобы видела котел во сне — но дед не отдавал. Адик, при всей своей феноменальной жадности, даже пытался этот котел купить, причем каждый раз назначал новую цену. Предлагал он небрежно, как бы между делом, но по особым искрам, горевшим в его выпуклых, обычно невыразительных глазах, было ясно, что вещь его крайне интересует. Но дед не соглашался.

Наш сосед по двору, пожилой сапожник, простодушный человек по имени Манашир, не выпрашивал котел и никогда не пытался купить, но всегда им восхищался. Дед в такие моменты снимал котел с полки и читал надписи Манаширу, не знавшему древнееврейского, причем, на моей памяти, звучало это всегда по-разному,

но сапожник этого не замечал, улыбался, цокал языком и хвалил старое время, в котором жили мастера с таким пониманием и любовью к людям. Манашир жил один, жена его умерла несколько лет назад, сыновья разъехались, появляясь лишь время от времени и привозя внуков. В такие моменты мы наблюдали, как сапожник, сидя во дворе, баюкает очередного потомка, напевая что-то вроде: «Йося-мося кушала, Хая-маямушала». Был он не очень старым, моложе деда, но оставшись один, начал сдавать. Иногда Манашир забывал снять тфилин¹ с головы после молитвы и так и ходил с ним по двору или подстригал бороду только с одной стороны. По всему было видно, что он болеет.

Когда у нас на безоблачном юге выпадает снег, меняется мир. Снегу высыпает необыкновенно много, без всякой подготовки он течет сплошным потоком на пейзажи сухой переспелой осени. За считанные часы он заносит округу — исчезают стоящие машины, кусты обращаются в исполинские снежки, а пальмы — в грибы-дождевики на тонких ножках. Через недолгое время застывают трамваи и становятся голубоватыми слизнями, подсвеченными изнутри, и балконные сети из девичьего винограда превращаются в подобию крыш. Замерзает газ в трубах и пропадает электрический свет — провода в нашем старом квартале во всех направлениях тянутся от деревянных столбов к разнокалиберным изоляторам, вбитым в стены, и во время снегопада эта паутина обязательно рвется. В домах становится холодно и воцаряется чуланная тьма. Я любил эти минуты, когда смотришь из окна на улицу, охваченную легким фосфорным сиянием, а звезды над городом после окончания снегопада становятся велики, их высыпает так много, что совсем не остается свободного неба.

Как раз в день такого снегопада было обрезание Адикино сына, и мы отправились туда — в его фотоателье на окраине города, где устраивался праздник. Мы долго шли через слепящую белизну, поскольку при попытке выехать машина наша застряла

¹ Тфилин (ивр) — две небольшие кожаные коробки на ремнях, укрепляемые на лбу и левой руке, содержащие написанные на пергамене отрывки (паршийот) из Торы.

во дворе. По дороге мы обсуждали щекотливый вопрос, касающийся женщины по кличке Дедеахуна, которую боялся весь наш квартал. По слухам, она наводила порчу. Дед полагал, что Дедеахуна без приглашения на празднике не появится, я же отчего-то думал, что эта жуткая старуха придет все равно.

Витрины фотоателье были занавешены одеялами, внутри были накрыты столы, а по стенам висели новогодние гирлянды и шары. Войдя, мы застали дискуссию на ту же тему — придет или не придет — впрочем, большинство не сочло эту тему важной. Женщины разносили еду, а за столом был весь цвет нашего района. Пока я расправлялся с кисло-сладкими голубцами, дед, отойдя в сторонку, перешептывался с родней. Через некоторое время в зал вкатили коляску с младенцем, украшенную искусственными розами и лентами, и оставили у стены.

В зале было человек двадцать мужчин, среди них и Манашир, сидевший рядом со своими двумя сыновьями, сильно исхудавший, так, что плечи на его пиджаке повисли, но при этом бодрый и довольный. Почти все гости были мне знакомы, кроме родственников Адикиной жены, прибывших из Кубы и смотревшихся откровенно по-сельски.

Заиграли музыканты, начался праздник, и в разгар веселья дед мой встал со стаканчиком водки:

— Когда мужчина видит своего родившегося первенца, что происходит с мужчиной? Мужчина счастлив? Да, счастлив и счастлив бесконечно. Но есть ли в этом счастье и некоторое количество грусти? Да, есть! Потому как ты понимаешь, глядя на своего сына, что отодвигаешься чуть-чуть подальше от земли и начинаешь быть ближе к Творцу. Теперь сына будут любить больше, чем тебя, и все твои будут его любить больше, чем тебя, а ты сам для себя никогда больше не ребенок, потому что ты теперь родитель. Как говорит наш дорогой рав Габо, когда мужчина видит лицо первенца своего, то мужчина понимает, что пришла его смена на этой земле. Так положено у Бога в Его мире. И сейчас наш Адик, которого «милó»² я помню, как будто это было вчера,

² Мило (джуур.) — обрезание.

самый счастливый человек на свете, и мы все — счастливые люди, мы будем радоваться и будем веселиться, как положено тем, в чьем доме явилось счастье!

Тут дед выпил водку под одобрительные восклицания и закусил острой капустой. В этот самый момент настужь, вместе с табличкой «закрыто», распахнулась входная дверь, и с летящими снежинками к нам вбежала незнакомая женщина. Она встала посреди зала, оглядываясь и отряхивая снег с платка, тут воцарилась тишина, лишь по рядам пронеслось ее имя, вернее, кличка, «Дедеахуна», замолкла даже музыка, лишь один Адик, сидевший с братьями жены спиной к дверям, появления ее не заметил и продолжал громко обсуждать какие-то денежные дела. Женщины, бывшие в зале, звеня посудой, побежали в фотолaborаторию, выполнявшую в тот день роль кухни.

Я с ужасом смотрел на гостью, она оказалось совсем не старрой, точнее, возраста ее было не понять, поскольку лицо было совершенно гладким, без морщин, а волосы выкрашены хной. Тщательно ее разглядывать я побоялся и уставился в тарелку, успел только заметить, что на лице Дедеахуны не было бровей, они были выщипаны и жирно и несимметрично нарисованы высоко на лбу, там, где брови никогда не растут.

Дедеахуна легкой походкой подошла к Адикю, встала за ним, и громко сказала:

— Не позвал? Думал, зло тебе сделаю? А вот сейчас я еще подумаю! Что, жалко старуху накормить? Жадный ты на деньги! А для кого ты не жадный? Для любовниц ты!

При этих словах и без того выпуклые глаза Адика еще больше выкатились, став похожими на две черные виноградины, и он замолчал на полуслове. Дедеахуна принялась обходить стол, приблизившись к моему деду, она произнесла:

— Отдыхаешь, Симан-Тов? Столько лет живешь, а без рюмки тебя никто не помнит. Сын спился, и внук пьет с дедом. Старуха все знает! Пей, пей. Тебя уже в аду ждут. Там вина много!

Тут я дернулся, но в этот момент дед сжал мне руку, я посмотрел на него, и увидел, что он улыбается. Пройдя дальше, где сидел Бадал, почетный гость, заведующий продуктовым магазином, Дедеахуна вдруг взвизгнула, да так, что Бадал вздрогнул

и выронил вилку. Дойдя до места, где сидел Габо Элигулашвили, обязательный гость на всех празднествах, старуха произнесла:

— А вот и наш тбилисский мудрец! Скажи, мудрый человек, где в твоих книгах написано, что можно сироту обижать? Угощения лишать? Давай, скажи! Сказки свои расскажи! У нас в квартале живет великий мудрец, а в мире его никто не знает! Праведник! В квартале все пьют и развратничают, злодей на злодее, а наш праведник одобряет! Пример подает, несмотря на годы, да?

Габо достал спичку и принялся, с каменным лицом, ковырять ей в ухе.

И тут Дедеахуна увидела коляску и, смеясь, пошла к ней, периодически выделявая руками и ногами танцевальные элементы лезгинки, так быстро пошла, что никто не успел ее остановить.

— Сейчас посмотрим, кто родился. Уай, какой красавчик! Вылитый Адик, такой же красавчик! Дай, балашка, старуха тебя поцелует! — сказала она с ликованием, запустив в коляску обе руки. Я снова вопросительно посмотрел на деда и увидел, что тот продолжает улыбаться. Тут раздался оглушительный визг, и Дедеахуна побежала к выходу, сбив по дороге стопку тарелок со стола. Налетев на треногу фотоаппарата, накрытую сверху тканью, старуха едва ее не опрокинула и побежала в другую сторону, забыв, откуда входила. Наконец, кто-то догадался распахнуть дверь, и она выскочила на улицу.

Когда все стихло, раздался хохот — смеялся дед, закрыв лицо руками, смеялся Габо, обнажив розовые беззубые десны, заливался Манашир, периодически стряхивая слезы с лица, и через некоторое время смеялся весь зал, и Адик, и гости из Кубы, и показавшиеся в дверях проявочной женщины.

А дело было в том, что ребенка, конечно, спрятали, а в коляске была мартышка по имени Лиора, та самая Лиора, что трудилась в ателье моделью для съемок с детьми. Ее, туго запеленав и нацепив чепчик, положили вместо младенца. В тот момент, когда старуха схватила, как ей казалось, ребенка, Лиора, разозленная до невозможности, зашипела и пустила в ход зубы.

Праздник продолжился с прежним размахом, заиграли музыканты, у молодежи началась даже лезгинка, освобожденную

обезьянку гладили и успокаивали, и казалось, никаких проблем больше не будет, как вдруг сыновья Манашира вскочили с мест, и разнеслось: «Манашир упал, Манашир упал». Сапожнику сделалось плохо, его стали приводить в чувство, кто-то кинулся звонить в неотложку, и веселье прекратилось снова.

Пока неотложка добиралась через заснеженный город, мы стояли вокруг старика, которого положили на стулья, а тот виновато улыбался и махал рукой, мол, все хорошо, садитесь и продолжайте.

Через две недели, когда его выписали из больницы, мы с дедом пошли к нему. Старый сапожник сидел на кровати, сведя брови домиком, и медленно раскачивался. Перед ним стояла нетронутая тарелка манной каши, приготовленной невесткой. Сама невестка, крупная, красивая девушка, гремела посудой на кухне, в комнате, несмотря на день, горела лампа и беззвучно работал телевизор.

— Почему не кушаешь? — спросил дед.

— Не могу, слушай! Вкуса вообще не чувствую.

— А ты настоящий плов с бараниной кушай, такой вкус почувствуешь!

— Э-э, кто приготовит? Некому, слушай, — с этими словами Манашир посмотрел на висящую над телевизором фотографию покойной жены.

— Ладно, да, сейчас я тебе наш казан принесу, с ним любой человек тебе плов приготовит, — сказал дед и послал меня за котлом.

Вернувшись, я увидел, что сапожник настолько разволновался, что даже встал с кровати.

Я поставил котел на стул, и сапожник принялся водить рукой по блестящим бокам этого изделия, превращенного неизвестно по чьей прихоти в кулинарную книгу.

— Симан-Тов, ты что, мне его даришь?

— Нет, поцеловать принес.

— Сейчас я ей скажу, пусть готовит, — Манашир махнул рукой в сторону кухни, где орудовала невестка.

— И правильно, пусть готовит, для чего еще они нужны! — сказал дед, улыбаясь.

Поговорив с нами еще немного, Манашир заклевал носом и вскоре лег, дед пододвинул стул с котлом поближе к кровати, и вскоре сапожник задремал, держась рукой за подарок, а мы пошли домой.

Пока мы пересекали двор, дед закурил папиросу, думая о чем-то, и мне показалось, что ему жаль котла. По правде говоря, мне-то самому не очень хотелось дарить такую замечательную вещь.

— А как он прочтет рецепты? — не выдержав, прервал я дедовское молчание.

— Никак не прочтет.

— А тогда как плов ему будут готовить?

Дед посмотрел на меня, выпустил дым из ноздрей, и сказал:

— Это, на самом деле, не самое главное. Главное другое.

— А что главное?

— Щедрость в твоей душе, — ответил дед.

Через несколько дней сапожник умер, а еще через год — выпал снег, да такой, что город буквально утонул в нем. Электричество отключилось, хлеб в магазинах пропал, машины встали, а мы сидели дома при свете керосинки, и дед, нацепив очки, читал мне вслух историю царя Шауля, потерявшего голову от зависти. Я глядел на улицу, окна домов которой превратились в цепочки керосинных светляков, уходящие вдаль, и думал о том, что старость, в отличие от детства и молодости, имеет начало, но не имеет строго определенного конца. Еще я думал, что когда-нибудь стану стариком. Тогда у меня обязательно будет внук, и мы поедем с ним в Тбилиси, самый красивый город на свете. Там, около моста, где шумит мутно-зеленая Кура, на старом базаре, среди подсвечников и подстаканников, мы обязательно найдем наш котел.



Александр Леонтьев

Родился в 1970 году в Ленинграде. Автор книг стихов «Времена года» (1993), «Цикада» (1996), «Сад бабочек» (1998), «Зрение» (Волгоград, 1999), «Окраина» (Харьков, 2006), «Заговор» (СПб., 2006), «Пределы» (СПб., 2017) и книги эссе «Секреты Полишинеля» (2007). Переводил Э. Эйберс, В. Вордсворта, Р.-М. Рильке, А. Рембо, Д. Уолкотта, А. Загаевского, С. Михалича и др.

Сад бабочек

...продленный призрак бытия...

Набоков

1

Вот бабочки — набросками с натуры,
Поспешными мазками на шелках
Возводят свой шедевр архитектуры:
Движенье крыл, похожее на «ах!».
Из воздуха — ступеньки и часовня,
Песочные часы на солнце бьют;
И куколка-родня и куколь-ровня
Растут и строят крохотный уют.
Их зодчество с ваянием незримы,
И, может быть, поэтому они
Прекрасны столь, сколь неостановимы
Мгновения... постой, повремени!

Ведь бабочка не зря собой рискует,
Макая в воздух крылышко, и вот
Она уже сама себя рисует,
И на рисунке явится не всуе,
Но выпорхнет на нём — и оживёт.

2

Из воздуха скорей — два лепестка
Порхающих: так в баночку с водою
Прозрачную художника рука
Обмакивает кисточку, но с тою
Лишь разницей, что в пустоте сухой
Смешались капли, и цветная дымка
Струится, не мутнея, — вот покой
Почти фотографического снимка!
Ведь невозможно жест остановить
Подвижной кистью, время упуская;
Здесь нужен штрих, тут надобно ловить
Мгновение, чтоб выяснить, какая
На самом деле жизнь была в тот миг..
Но как мне обозначить то мгновенье?!
Всё кажется, что я его настиг..
Так в темноте ещё мерцает блик,
Когда внезапно гаснет освещенье.

3

Вчерашний день: не пойманный — не вор?
Но ощущенья памятные мнимо
Вернут мне замутнённый страстью взор,
Что купиною горел — неопалимо.
Прозрачной тенью дрогнувших ресниц,
Сомкнувшихся, сказавших «да, согласна»,
Живая жизнь, не сохраняя лиц,
Уходит в тень иную ежечасно.

О! — бабочка ночная свой хитин
Ещё не весь успела на пол скинуть,
Ажурнейший хитон из паутин,
Чтобы желаньем чутким смог я вынуть
Её потом из кружева, извлечь,
Помочь расправить воздух, обладая
Формующейся где-то между плеч
Крылатой тьмой, которую сберечь
Не сможет утром комната пустая.

4

Так невидимка пудрится, в щепоть
Сложивши пальцы, бабочка в которых
Трепещет, обозначивая плоть
Бесцветную, пыльцу сухую в порах
Воздушных оставляя... Все цвета
Переберёт жестокая: ей мало
Оттенков только с этого куста
И с этого... Так бабочка порхала
На пудреницах летних — чуть жива —
По прихоти красавицы незримой,
Которая намечена едва —
Лишь для того, чтоб не казаться мнимой.
И розовая сыплется пыльца,
Лиловая и жёлтая, но всё же
Она ничем не выдаёт лица,
Не сообщая очертаний коже...
И Замысел не ясен до конца.

5

Я думаю, у бабочки внутри
Находится — как в коконе — другая,
А в той — ещё одна... И так, их три.
И так они летают, помогая
Друг другу удержаться на весу...

А если крылья первая и сложит,
Вторая расправляет их: спасу!
И третья им двоим всегда поможет.
Кто оболочка здесь, и кто — душа,
Что плотью тяготится? Чьё тут бремя,
Где — крыльями махая и мasha —
Из вечности выпархивает время?!
Ведь что-то там, в груди у нас, даёт
Надежду, что и мы не одиноки,
Но совершаем гибельный полёт
Внутри Кого-то большего, Кто сроки,
Отпущенные нам, продлит вот-вот.

6

Не нужно ссылок: всякий сам поймёт,
В каких силках ты прежде побывала
И сколь опасен смертный перелёт
Из ангельского аэровокзала,
Из жизни в жизнь — который год уже —
Проскальзывая там, где, вероятно,
Протиснуться возможно лишь душе,
Не думаящей, как попасть обратно.
Зазор таков, что профилем крыла
Психея западает в мир, подобно
Тому, как амальгама — в зеркала,
Самих себя рисуя нам подробно.
А здесь, где нашей жизни недолга,
Нельзя бессмертье рассмотреть дотошно:
Я не гляжу — и нету двойника;
А если есть — меж нами та фольга,
Которую мне вынуть невозможно.

7

Во тьме лабораторной, от лучей
Сиюприродных прячась — как в утробу
Небытия, которую ничей
Не пронизает взор — любовь ли, злобу
Равно таящий; в душной тесноте
Уединенья, унеся с собою
Все краски жизни, отбирая те
— там, в темноте, — которые судьбою
Как будто предназначены (потом
все так и будет выглядеть); во мраке
Египетском, хитиновым бинтом
Опутана, сердечные тик-таки
Взяв за основу времени, — она
Себя осуществляет, оболочку
Меняя, целый мир: и явь от сна
Неотделима, перерождена
В крылатую строфу, в живую строчку.

∞

Остановись, сравнение! Постой,
Метафора души, метаморфоза
Аморфной жизни в мертвенный покой
Беспамятливого метемпсихоза!
Пусть легионы бабочек летят —
По эту жизнь, вытягивая сяжки
В грядущее, — туда, куда возврат
Немыслим... Ведь рождённые в рубашке
Крылатые создания — и те,
Из достоверных выбравшись волокон,
Обречены на гибель в пустоте,
Которой не понадобится кокон.
Да будет многоярусным их сад,
И флот их — многопарусным, — какому
Мир многогрустный, я надеюсь, рад, —
Как пастве той, что — от небесных стад
отпав — припала к пастбищу земному.

Выставка

1

Да нет, не из-за похорон.
Обычная хандра. Простуда.
И стены — с четырёх сторон.
Жизнь лишена, ты знаешь, чуда.
Отстань. Да всё пройдёт само.
В музей? Не знаю. Впрочем, ладно.
Тем более что не накладно.
Мане, ты говоришь? Ах, Мо!

2

Повесьте вместе два пальто.
Я так и знал, что будет давка.
Что Пруст, когда повсюду Кафка.
Вот мы пришли сюда — и что?
Полно знакомого. Не всё, но...
И вообще, глазеть вдвоём...
Ух ты, аж с берегов Гудзона!
А вот и Живерни — живьём.

3

Кровосмешение мазков,
Их полыханье, колыханье:
Где мир, что вовсе не таков,
И смрадное его дыханье?
Подробный рай, и то не весь,
Кистями вылеплен упруго...
Поссориться с тобой, подруга,
Мы умудрились даже здесь.

4

Не обижайся, извини,
Прости, я сам себе не верю,
Свою недавнюю потерю
Угадывая в той тени.
Полотна потекают слёзам:
Гляди же, как формует пар,
Произнесённый паровозом,
Стекло вокзала Сен-Лазар.

5

Смотри, как девушки в саду
Сидят, обмениваясь платьем
С густой сиренью, красоту
Которой всё не увидеть им.
Здесь нужен посторонний взор,
Чтоб разглядеть в холсте пологом,
Как небо, вогнутое логом,
Оврагу выгнуло узор.

6

Ты так обводишь языком
Свои обветренные губы
— слезам так увлажнить тоску бы! —
Как мастер контуры мазком.
Всё благостно вполне, однако
Не слишком ли болезнен лоск,
Что отворяет вены мака
И розе вышибает мозг.

7

Здоб. Одойдём и боздоим.
Я звой благог оздавил дома.
Бозволь возбользуюзь двоим.
Чихады на эдо. Эгцехомо.
Ну вот. Как сыро в январе.
Продлим же мраморное лето
Москвы, совокупленью цвета
Дивясь, искусственной жаре.

8

Ещё немного отойдём —
И плоскость, явленная глазу,
Всё уплотняясь, но не сразу,
Приобретёт лесной объём.
И там, где на коре берёзы
Сердечко процарапал Поль
Иль Пьер, уже подсохли слёзы,
В глубинах гулких пряча боль.

9

Вот матовое полотно —
Без ласки чувственного блеска,
Хотя оно увлажнено
До вёсельного переплеска.
Где светотень? — причал, туман...
И чайки, плача, закричали,
Собой, в отчаянье печали,
Обозначая первый план.

10

Должна же где-то перейти
В себя саму пустая рама,
Где ни трагедия, ни драма
Не встанут поперёк пути.
Тебе такая вещь знакома?
Вот небо вывернуто на-
изнанку синью водоёма,
А подлинная — не видна.

11

Не плотоядные холсты
И не холёные полотна —
Над ощущением тщеты
Душа возвысилась бесплодно:
Тут пламя стянуто в пучки,
Что пышет, в тяге бесполезной,
Японским мостиком над бездной,
Вселяя бешенство в зрачки.

12

Осмотр окончен. В гардероб.
Мы в тесноте, но не в обиде.
Предстанет где-то в лучшем виде
Недавно мной несённый гроб.
Живыми помнятся мне лица...
Пройдут иные два часа:
В твоих глазах, в иных — продлится,
В моих захлопнувшись, краса.

Вырица

А. С. Кушнеру

Каждый парус намокший размотан —
Вот удача для дачных регат!
Многомачтовый ельник... и вот он,
Перепончатокрылый фрегат.
В зафрахтованной летней скворешне
Ослепительный дождь переждём,
Пусть недвижим кораблик наш внешне —
За туманом и этим дождём.

Будет призрачной он невидимкой
Для незрячих, не зрящих его.
Вся веранда окутана дымкой
Сизой хвои. Хвощей вещество.
Не ветрами кораблик сквозными —
Только лапами елей гоним.
Шевелится ли хаос под ними?
Шевелится. Под ними, под ним.

Не морской, но укроется ёж в ней —
В кроткой буре, заплыв за пеньки.
Разве снасти дождя не надёжней
Одиссеевой прочной пеньки?
Нас привязывать к стульям не нужно —
Мы пожарной и «скорой» сирен
Понаслушались, чувствуя дружно
Милой палубы гибельный крен.
У распахнутых окон стояли —
Без руля, без ветрил, без кормил,
Где-то струны дрожали в рояле,
Кто-то клавишей стаю кормил.
И, взобравшись на борт к Одиссею,
Через вырицкий дождь и туман
Так и плыли компанией всею...
Через реку времён, Океан.

Провинция Империя

Огромный мост — и жалкий ручеёк.
Ни больше и ни меньше — Арджентина.
Рассчитан на поток, что нынче — ёк.
Безрадостная, доложу, картина.
Хотелось целиком его пройти...
Проковылял две трети — спёкся, жарко.
И видно — ерунда в конце пути:
Там не найти
Ни церкви, ни жилищ, ни просто парка.

Присел и выпил граппы. Таджа, ты
Мне Римский мост сушила — ведь сбылось же!
Что ж берега практически пусты?
Полны ли были прежде? Будут позже?
Кусты да камни. Сбродится ль когда
Во что покрепче муторное сусло?
Иль нет надежд, что горная вода
— вольна, горда —
Заполнит по весне сухое русло?
Вот котлован, а паводков — увы.
Простор, где уместиться можно горю.
Почти не поднимая головы,
Ползёт водичка... Господи, да к морю!
Что ж сразу я туда не поглядел,
Где лишь гряда летучая нависла,
Как виадук... Теряется предел.
О том радел?
Обид же нет! — Но нет стыда и смысла.

Капелла Медичи

Закрылся от мира плечом,
От собственных черт, от резца ли
— отрадней не знать ни о чём —
Вот День, чьи понятны печали.

А Ночь беспробудная спит.
Но локоть, но угол колена!
В ней дремлют уколы обид?
Тоска, избежавшая тлена?

Покой — и крошечная жуть.
Здесь даже к Младенцу тянуться
Не в силах скорбящая Та,
Что с Новорождённым — Пьета.

И Вечер страшится заснуть,
А Утро не может проснуться.

Библиотека

С. А. Лурье

Аллея колонн, не дающая тени.
Ведущие к бывшему порту ступени.
На море на шесть километров ушло —
Чтоб не возникало у шлявшихся праздно
Войти в те же воды пустого соблазна
Умершему здесь Гераклиту назло.

Мы к портику, лучшему в мире, ей-богу,
Подходим, порогу, осилив дорогу...
Но время давно отчеканило: цельсь! —
В стремленье каверны из мрамора высечь:

Ни свитков — а было двенадцать их тысяч,
Ни цельного зданья, что выстроил Цельс.

И воздух один поселился навеки
Во внутреннем дворике библиотеки,
В ларце пустотелом. Случайный турист,
Четыре примерно отмерил я метра
Под свист и сипенье асийского ветра —
И был небосвод безучастен и чист.

Вот так и закончится книжная эра.
Фасад монитора, экрана химера —
Затоптаный толпами наш палимпсест.
Не полости каменной, в сущности, жалко:
Пускай пустота! — пустота, а не свалка!
Присутствие неких отсутственных мест!

Мне нравилось это безмолвие, эта
Зыбучесть теней мозаичных и света,
Их пегая шкура на пыльном полу...
Величье? Пожалуй. И — да, благородство.
Всю богооставленность нашу, сиротство
Прочувствуй — и, смертный, воздай им хвалу.

Всё схлынет, как море. Все люди, все свитки.
История — что это? Только убытки.
Но ты ведь, свидетель красоты и тщеты,
Гулял тут, курил, поминал Гераклита...
Любой позабыт, но Ничто — не забыто,
Покуда есть каждый, покуда есть ты.

Сергей Филатов

Родился в 1961 году в Омске. Окончил Алтайский политехнический институт, учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Стихи и проза публиковались в краевой, российской и зарубежной периодике, в коллективных сборниках, в различных антологиях. Автор семи поэтических книг и двух книг прозы. Живет в Бийске.



Опять гнилая осень на дворе...
Мну сигарету долго и бесцельно
и растворяюсь в этом октябре —
как капля в целом.

С самим собой, что с небом говорить,
где даже эхо мне не отвечает.
Курить бросаю, чтоб... начать курить,
чтобы начать бросать курить сначала...

Порочный круг желаний и обид:
мы встретились... расстанемся врагами...
И осень безысходная, как быт,
и месиво из листьев под ногами...

Есть причины платить по счетам,
Распадаясь на вечность и леность,
На усталость, на как бы нетленность,
Как бы на неподвластность годам.

Этот тополь живет живых,
Сколько помню себя, столько помню
Я его неизменную позу,
Как с листвою, так и без листвы.

Этот двор, точно пройденный вброд
Океан шириною в полвека,
Как хранилище веры и света —
Этот старый пустеющий двор...

Эта девочка с куклой в руках
В светлом платьице, будто на вырост...
Это время сквозное, навывлет, —
Сединой у виска...

В краю, где слово Родина — под гнётами идей,
среди таких же кинутых и преданных людей
мне как-то скупомыслится, что снова ляжет снег...
Уж лучше б сразу вывели, поставили к стене,
к стене глухой, как кладбище... и чтоб была листва
опавшая. А главное, успеть едва-едва
вдохнуть немного осени и холодок стены,
открыть ладонь с осколками небесной тишины... —
щелчок от ветки сломанной, скупой, сухой щелчок...
И словно всё закончится. И всё. И — ничего.

По жизни — автостопом и пешком,
Всем песню пел, встречал кого в дороге...
От деда с бабкой далеко ушёл,
Сказать по-русски — далеко-далёко.

Они в земле, родимые, лежат —
Под Омском дед, а бабка на Алтае...
Шёл, как бежал.
А от кого бежал... и что нашёл?..
И где
Себя
Оставил?

Теперь лишь ждать, как обречённо ждёт
Прохожий запоздалого трамвая,
Как колобок, которого сожрёт,
Не поперхнувшись, плесень мировая...

Мне б сохранить закваску да печаль —
Как сухари и вкус, и запах хлеба
Хранят, —
Тогда б не пел. Тогда б молчал.
И молча, не спеша бы слушал небо.

Русскому историку
Сергею Исупову

Древнее поле запущенно наглухо.
Ни перепутья какого дорожного,
Ни тебе камня с развилочной надписью...
Что-то застывшее... пустопорожнее.

Где же вы, песни родные росистые,
Удаль безбрежная, даль благовестная?
Гнили таёжные, хляби российские... —
Знаменье крестное.

Будто утрачена светлая заповедь
Исповедальности хлебного колоса —
Пресное время, без вкуса, без запаха,
Время — без голоса,
Точно застыло над древнею пустошью
Скифскою Бабою в мёртвом безветрии...

Мы ли, бредущие полем запущенным
В том безвременье ли, в этом безверии?

Часы

Куда они идут? Зачем они спешат? —
Как будто жизнь — сейчас, и завтра нас не станет...
Реальность такова, что теплится душа,
покуда уголёк её ещё мерцает.

Как будто полынью, затягивает льдом
окно во внешний мир. И этой вот порою
Читается легко, да пишется с трудом,
и мыслится с трудом о том, что мир огромен...

Огромен ли?.. Тик-так, вот — стол, вот — стул. Окно,
затянутое мглой... Тик-так, тик-так... А дале —
стена, ещё стена. И что за той стеной,
за каждой из них?..

Лишь неизвестность давит.

Как будто воздух сжат в чулане временном,
И вечность, как куржак, настыла над окном.

«Вначале было Слово»...

Но — пришло

иное время: время-ремесло...

«И Слово было — Бог»...

Но век поблёл,

и стал ронять в тираж — что листья в осень клён —
ненужные, как прах (ну, разве, для венка...
что проку в них теперь, когда больны века
утерей смыслов и утратой естества!..),
разменные уже — слова, слова, слова...

Вторичные как всё — как память! как душа! —
не то чтоб прозвучать, лишь под ногой шуршат,
конструкции из букв, где правит — ё-моё! —
всеядный интернет... вторичное сырьё...
Забвеньё — вот удел потери естества,
«Вначале было...», но — в размен — слова, слова...
И потребляя их вторичный
«как бы смысл»,
встаем в чью-то сеть...
Где мы — уже не мы.

Памяти Николая Шпилова

В общежитии, где ангелы гостят,
Где поэты меж запоями живут —
В этом храме, словно в Спасе на... костях... —
Но отсюда, Коля, нас и призовут...

Без повестки призовут, но точно в срок.
Перекурим, да и бросим мы курить...
Увлеклись мы, Коля, этою игрой,
Но честнее здесь сказать, чем говорить.

Ну а коли ты запел, то нужно пить,
Потому как без питья — одно враньё.
Ну а пьют здесь, как ведётся, чистый спирт,
Наливают, как известно, без краёв...

Слышишь, Коля, то басовая струна
Надорвалась, как на взлёте, и навзрыд...
И поехала-пошла. И понеслась
На пределе. На краю... Да под обрыв.

На краю — а людям слышится: «В раю», —
Где твой голос хрипловатый зависал...
Слышишь, Коля, это ангелы поют
На твоих обетованных небесах...

Всё столь ожидаемо, сколь и неожиданно.
Сгорает сентябрь, открываются дали,
Слетает листва, небеса обнажая...
И снимок на память.
Вы этого ждали?

Фотограф снимает: внимание — вспышка!
И в вечность мгновение перетекает,
Застыли улыбки на лицах, и листья...
И только фотограф остался за кадром.

А листья летят и кружатся, и каждый...
И люди не вечны, меняются лица...
И вечно фотограф — за кадром...
А в кадре:
Улыбки и лица... И — осень! И — листья!..

Дождём пролита роща светлая,
парит земля... — Христос воскрес! —
проклюнувшись, травинки свежие
пасхальной зеленью согреть
уже пытаются отчаянно округу,
брызнет всё листвою вот-вот,
и чувство из-печальное
воскреснет радостью живой!



Марина Кудимова

Поэт, прозаик, переводчик, эссеист, историк литературы, культуролог. Родилась в Тамбове. Начала печататься в 1969 году. Окончила Тамбовский педагогический институт. Автор многих книг стихов и переводов. Лауреат премий им. Маяковского (1982), журнала «Новый мир» (2000), Антона Дельвига (2010), «Венец» (2011), Бунинской (2012), Бориса Корнилова (2013), «Писатель XXI века» (2015), Лермонтовской (2015).

АРДАТОВ

Фрагменты романа

I

Некотрые реки обходятся без пойм. С тех пор как шел и слабел ледник, эти реки, кущие и прямые, не успели намыть долин, уперлись в суглинки, которые льды натерли друг об друга. Поймы образуются в долинах. Их при малейшей возможности создает речной организм. Так организм женщины ищет повод для зачатия.

Пойми, пойма! Прежде чем труд русла сделал тебя заливной частью речной долины, прежде чем ты отдалась во власть половодий и паводков, превзойдя ложе по ширине в поперечнике во много раз, прежде чем твое дно заросло планктоном и подводными лугами, прошла тысяча лет. Русло плутает, змеится излучинами по дну, ища свой единственный путь, то ненадолго спрямляясь, то искривляясь. Один берег размывается, вгибается оголовками, другой намывается, выгорбливается островными

ухвостьями. Сильные, упрямые глины держат берега, не дают вольготно разлечься пойменной воде. Слабые песок и галечник не мешают береговому размыву и не унимают возведения поймы, образуя на выпуклых участках берега отмели — побочни. Отмель хочет стать поймой. Она исподволь зарастает лесом, кустом и осокой в человеческий рост, задерживается, и, как только это происходит, русло преобразуется.

Поэма поймы пишется половодьем, словесная сбывчивость берет свое: «пойма» — от «поимати», заливать. Половодье заполняется отраженным небом, сгущает песок и гальку наилком — залогом плодородья. Зачерстевшая дернина теперь спасает берега от размыва, как устоявшийся язык боится от детского нащупывания словоформы, предлагая универсальную, уточненную веками. Но половодье осаживается, контур поймы меняется, как лицо перелицовывается возрастом. Блуждание ложа оставляет ложбины и протоки, озера и серповидные староречья, гряды и косы, островки-останцы. Границы воды охраняются камышом и рогазом в коричневой плюшевой шапке. В заводях лениво дрейфуют желтые кубышки и мертвенные лилии. Малая выпь и черная крачка не воют с вертишейкой и золотистой шуркой. Язь и налим, карп и пескарь, ерш и карась соседствуют, не питаются один другим. Половодья дают пойме рост, и она входит в пору зрелости. Высокая пойма — высокий выпуклый берег. Он заселяется людьми, которые многолетне, старательно изводят пойменные накопления порубками и покосами, ужением и охотой, отъятием сушняка и топляка.

В пойме отражается меньше, все меньше неба, и мутнеющий паводок норовит потопить, вытеснить человеческое жилище. Так и сражаются они, пока кто-то не уступит — либо люди не уйдут вглубь суши, либо река не иссякнет.

Город Ардатов Симбирской губернии жил в близкой поемности реки Алатырь от ростополя до ростополя — так именуют здесь половодье. И хорошо ловится в эту пору, когда идет вода, только сорожняк — невеликая плотвица, пять штук фунт.

На берегу Алатыря, самой по себе реки дюжинной, не выдающейся по сравнению с главным водотоком — Сурой —

ни шириной, ни глубиной, ни даже красотой и прирусовой сродненностью с этим стремнистым берегом, покойно сидели на обрыве, на яру, на резком уступе три ардатовских мещанина.

Отличие этих среднего рода людей от крестьян заключалось только в относительной малочисленности и согласии старосты с их образом жизни. Двое из них занимались извозом. Печать податного сословия еще не стерлась с их сельских физиономий. В городских собраниях они не участвовали по причине безынтересности и накопленных недоимок. Книжек, обличающих мещан за общественное бездействие, и газет, призывающих напрасное сословие упразднить, они не читывали. Да и городишко их постоянного проживания мало чем — разве количеством вывесок над лавками — отличался от деревень, из которых они, в свое время освобожденные, пришли. Своим нынешним неопределенным положением береговые сидельцы были обязаны Екатерине Великой. Коровы по-прежнему паслись на улицах, фонари не горели, и не вляпаться вечером в лепеху позволяло только раннее, летом засветло, упаковывание ко сну, угнезживание в постелях. Сады и огороды оставались основным средством прокормления. Но весной яблонный и вишневый Ардатов был чудотворно пригож!

Андрон Татаринов раньше тоже занимался по гужевой части, но потерял ногу, раздробленную груженой телегой, и скакал на деревяшке, похожей на топорнице, только толще у основания. Евстафий Даюшов по прозвищу Тавраш происходил из чувашей, но не особо любил, когда ему об этом напоминали, тем более что фамилия Татаринов тоже корнем срывалась в инородчество. Кузьма Милованов родился не пойми от кого, вымахал стоеросово и, как многие высокорослые, отличался незлобивостью и смутительностью. Горожане сидели бесхмельно, поевши дома хлеба с луком и минуя чапок, поскольку до спожинок — Успенья Пресвятой Богородицы — полагалось трезвиться. Трезвение рекомендовалось и во все другие дни, но выдержать воздержание не давала жизненная практика.

При таком внешнем ограничении им ничего не оставалось, как беседовать. Сперва они обсудили тему скорого обогащения через кладоискательство.

— Поклажи тайной силой вытягивают, — сказал повидавший мир Андрон.

— А чем берут? — поинтересовался обычно бесстрастный — по-местному тенетник — Тавраш. Про таких говорят: кому не горячо, тому и не болячо.

— А журавцом, — со знанием дела сообщил Андрон.

— Каким таким журавцом? — встрепенулся Милованов. — Гнутой палкой, что купола крепит? От ведь вытвораживашь! Перекрестись, андроны едут, — обыграл он имя Татарина.

Тот немного подумал, не обидеться ли, но не стал портить хороший разговор и впечатление о себе.

— Ково мне враковать? — с помедлением и растяжкой проговорил Андрон. — Старики байкали из Фарафонтихи. Они первые рыльщики в наших краях.

— А ты бывал в Фарафонтихе той? — уел его теперь Тавраш.

— Бывать не бывал, а слыхом слыхал, — решил признаться Татарин и пошел частить, пока не прервали: — Поклажи все заговоренные до прихода Антихриста. Каждую свой бес-кладовик, особый приставник сторожит. Умопомрачение насылат и непробудимый сон.

— Ну и что тады толковать? Ежли помрачение, то и соваться попусту — парманом сделашься, будешь ночами по кривам скакать, — чуваш притворно зевнул.

— А не всем! — Татарин поднял узловатый палец. — Не всем посылатся. На то особый заговор есть. Его мало кто знает.

— А ты знашь? — недоверчиво спросил Тавраш, продолжая строить равнодушие. — Я слыхал, главно, чтоб у копателей лопа-та блестяла. Тады и фарт будет.

— Не в лопате фарт, — хитро прищурился одноногий.

— Так знашь? Откель?

— Оттель! Со мной один жох в больнице лежал, поведал.

— Небесчего увечный ты, а врешь, — усомнился Кузьма. — Разъездился языком, как мордва на Богоявление. Что ж тебе тот ведун ногу не заговорил?

Татарин уже занес кулак, но передумал. Зато Даюшов приосанился и порумянил. С мордвой у чувашей были свои незапятнанные счета. Чуваш мордвина не иначе как тыковником кликал.

А Кузьма напомнил старую насмешку: перед Крещением по мордовскому селу никто не мог проехать, поскольку туземные запрягали всех по очереди лошадей и гоняли кругами, чтобы шайтан не испортил. Таврашу послышалось, будто Милованов натутыкивал — наговаривал на мордву, и ему это пришлось по нраву, тем более что мордовское население тяготело к хлыстовству, а Евстафия нездорово интересовало это занятие.

— Так япошка — он русского заговора не понимает! — нашелся инвалид довольно скоро.

— А бес понимает? — не унимался Милованов.

— Намо, понимает! Чай, по всей земле летат. Раи дурак скажет, что не летат.

— Ну и каков заговор тот? — не утерпел Тавраш.

— А вот тут Милованов Святое Хрещенье растово спомнил. В саму тютельку попал.

— Чевой-то? — засмутился Кузьма.

— А тово! У тех поклаж через три года приставники сменяются. Есть таки травы, коим сила от Бога дана: огня, царь-трава, Петров хрест да плакун. На Иоанна Богослова берут тово плакуна, загнибают верхушку и оставляют до Троицы. А на Троицу ту траву с корнем несут к обедне. Поп траве молитву дает, и делатся годна для кладов, печати приставника отпират.

— Да заговор-то што? — не выдержал Тавраш. — Трава, трава... А то мы травы не видали!

Татаринов перекрестился на четыре стороны и завел:

— Приступаю я, раб Божий, к поклаже сей, окружаю в ширину и глубину, утверждаю Божьим словом: пошли мне, Господи, помощника, архангела Уриила, отогнать демонскую силу. Пошли, Господи, грозного Илию пророка с огненной колесницей, с громовым ударом истребить нечистые силы от поклажи сей. Утверждаю поклажу сию на камне Алатыре, замок отмыкаю в небе, ключ в море; как морю огненну не бывать, из моря ключей, кроме меня, не вынимать, а замка не отпирать. Аминь! Слышь, Кузьма? Камень-то Алатырь у нас под боком — верст сорок не набежишь. И река наша по ему прозывается.

Обыватели ошеломленно молчали, чем рассказчик не преминул воспользоваться:

— Ну, ладно! Не хошь, Кузьма, журавцом действовать, можно и коромыслом отпереть с такой-то защитой. Главное, руками до замка не дотыкаться, а деньги брать из середины, чтоб нечистой печати не коснуться. А то такой подвох тебе учинят, что ослепнешь.

— А как оборониться? — опасливо спросил Евстафий, как будто завтра собирался доставать клад.

— Глаза промыть Хрещенской водою с таковыми словами: «Матушка Богоявленска вода, покажи в себе от небеси и земли, сквозь камня и песка и красной глины, поклажу во славу всех святых. Аминь!»

— Аминь! — повторили приятели и перекрестились теперь оба.

После благоговейной паузы недоверчивый Кузьма пошел на супротив.

— Виден Симбирск, на горе, да семь день идем. Что ж это, всякий тать, что замки подламывают, заговоры знат и плакун-траву в карман пхат?

— Охма! Вымахал ты большой тагалай, а ума, как у девки, — позволил себе покуражиться Андрон. — Зачем им плакун? На простое воровство спрыг-трава есть. Десять лет на человечьей крови растет, а тониной с волосок. Вор ее под ноготь сует, палец к замку прикладывает, замок и спрыгиват.

На это возражений не последовало. Только Тавраш присвистнул для разрядки:

— Фома богатый в одной лавке сертучок сцопал, в другой картузик слизал.

Посмеялись из вежливости. После непродолжительного безмолвия одноногий решил спросить Милованова:

— Чевой-то тебе губу так разнесло? Ишь, болона кака!

Ардатовский этикет любопытства к чужому здравью не поощрял — это считалось делом бабьим. Но на нижней губе Кузьмы, захватывая угол рта, действительно вздулся порядочный веред. Кожа вокруг покраснела и неприятно блестела, как лопата кладоискателя.

— Дерябится? — спросил Даюшов, до этого не обращавший на гнойный желвак никакого внимания.

— Да вот лихой приключился, — виновато сказал Милованов. — Я уж его чем не ковырял — не берет, зараза! Намо, лихой. По действию сатанину. Думал, знахарь спользит. В Канаклейке живет. Баще его нету шептуна. Да не пошто поехал, отлучка ему случилась. Уж меня дедюха ночью бьет.

— Какой знахарь! — возмутился только что рассказывавший про прыг-траву под ногтем Татаринов. — К дохтуру надоть. У нас дохтур новый в земской больнице. Такой натурный! Кулья у меня ломила в самом вертуху. Он помял, мазь прописал, и отпустило. Поди к дохтуру-то. А то, брат, вон как ты размолел! Болько, небось?

— Гораз боленько, а то! Но дай боли волю, полежав, да умрешь, — смудрил Милованов.

— Куды помрешь! Ты вон какой адамина, — уверенно сказал Татаринов. — Тезево подбери да иди. Он денег не берет. Справный дохтур, мужицкий.

— Да у меня одежда неахтительна, — признался скрепя сердце Кузьма.

— А чево ему твоя одежда, — теплохладно высказался Даюшов. — Все одно разнагишит.

— На боль свой заговор имется, — деловито сообщил Андрон, поклонник медицины. — «Как летит матушка громава стрела, так бы и летали уроки и призоры, озевы, худобища, болестища». Дохтур возьмет ножик вострый, разукладный да вскрыет шишак поганый. Свет увидишь!

— Не то пойтить? — неуверенно сказал Милованов. — А то лежу вербушки, не повернусь. Болемога так-то жить!

— Вот и ступай, — приказал Татаринов. — А теперь прощайте!

Он без лишних сборов, легко, как на настоящую, вскочил на древесную свою ногу и попрыгал по направлению к переулку, в котором обитал, на хромом ходу напевая:

Как жена мужа зарезала

Вострым ножичком булатным, разукладным...

— Пойти нешт? — тоскливо и неуверенно обратился Кузьма к оставшемуся Таврашу.

— Боль врача ищет, — безразлично сказал тот.

— А поклажи на апостола Симона Зилота ищут, — вдруг вернулся Кузьма к теме. — От его фамилии золото произошло. И святителю Иоанну Великоновгородскому молебны служат, чтобы, значит, земля отпустила. Он, чай, беса в лагунок запечатал. И тот служил ему. А куды из бутылки денешься?

Евстафий уже и думать о несбыточном забыл. А может, и не забыл...

— Хвораю я, — сказал Кузьма в пустоту. — Рвет из меня каждый день.

— Будет тебе алырить-то! — отмахнулся Тавраш. — Ярманка скоро.

Грядущая ярмарка никакого отношения к состоянию Милованова не имела, однако он понимающе покивал. Зуонов, то есть событий, случилось в Ардатове немного.

Получку в земской управе выдавали 20-го числа. Бухгалтер уездного казначейства Брыканов отпустил жалованье сам себе в сумме 20 рублей и расписался в ведомости. Кроме того, в преддверии начала учебного года он произвел удержание у педагогов в пользу Российского общества Красного креста и составил список пожертвований в пользу учительского комитета. Пожертвовали близко к минимуму. Выдал бухгалтер денежное довольствие и всем отделам — статистическому, продовольственному, агрономическому и врачебно-санитарному. Только новый доктор, как обычно, проманкировал.

«Не нуждается!» — презрительно подумал Брыканов и сызнава удивился непомерному разрастанию штата: еще недавно со всеми делами управлялись четыре души. В помещении управы с девяти до трех пополудни заседал и нотариус, и воинское присутствие находилось тут же, только командир гарнизона и одновременно делопроизводитель, надворный советник с фамилией, как бы поприличней сказать, Червяк заседал в арендуемом доме купца Крашенинникова. Гарнизон Ардатова представлял собою одну роту Томского полка, помещавшуюся в двух казармах. Воинская часть состояла из писарской и конвойной команды, охраняющей тюрьму, и нестроевой хозчасти в количестве 30 недоносков.

К городу своего проживания Брыканов относился индифферентно. Глухомань. Банковское учреждение одно-единое с ежегодным оборотом до 120000 рублей. Из развлечений базары по четвергам и воскресеньям да ярмарки постами. Пристаней и водяных переправ нет. Железная дорога за десять верст. Памятников истории нет. Брыканову не приходило в голову, что время накопительно, и то, что сегодня вызывает зевоту обычностью, завтра в случае утраты возбудит гнетущую тоску, а в случае случайной сохранности станет не просто памятником, а местом поклонения.

В день полочки можно было всей семье поесть мясного, но шел Успенский пост. Свиной летом не кололи из-за жары, а свининки хотелось до чрезвычайности — с жирком и прожарочкой! Да хоть бы лоскутик с бочка или хрящик шейного зареза! Однако опять придется хлебать муру на аржаных сухарях. Ардаговцы свинину предпочитали говядине, едва ли отличаясь в этом от других жителей империи. Свинья скотина скверна, но на столе перва. Бухгалтер заставил себя вспомнить изрубленный в ломотья, от начала времен не обтиравшийся стольчак в мясной лавке, чтобы прогнать бесполезные мечты.

Брыканов запер присутствие и облегчительно подумал, что овсяный Буинский уезд, где он имел несчастье родиться, еще глуше Ардаговского. Там вообще в лесу чувашаи пеньку молятся, а степь кишит татарами — главными скупщиками в Поволжье. Буинск издавна славился еще и портными, среди которых татары тоже преобладают. Да и огородники они первейшие. Русских разве что в Тетюшах большинство.

Чуваши разводили хмель, загибали ободья, долбили корыта, драли лыки да высиживали смолу. Ловили в силки рябчиков и куропаток, чем страшно гордились: дичь у них покупали чуть ли не в самой Казани. Считали себя выше и чище русских, потому что ели не щи, а салму из гороховой муки, запивая кушанье катыком, и в целом больше слушали татар, а у русских переняли только самовары.

Сам-то Брыканов появился на свет в селе Киять, на винокуренном заводе в усадьбе Терениных. Киять славилась Покровской ярмаркой, куда с мануфактурным и галантерейным товаром

съезжались купцы из Симбирска, Алатыря, Тетюшей, Цивильска и Чебоксар и куда брал его с собой отец задолго до обучения бухгалтерскому делу. У Брыканова защекотало в носу от проснувшейся памяти запахов — овчин, шерсти, кож и дегтя, залязгало в ушах от разбираемых серпов, кос и лопатных черен, закрипело трением друг об дружку щепных изделий, загудело страданием продаваемых коров симментальской, бестужевской и пашковской пород в калдах, завохтало курами Рот-Айланд, Ланкшан и Миноро, завизжало йоркширскими свиньями, заблекотало гортанно каракулевыми овцами.

Симфония в исполнении ярмарочного оркестра детства отчего-то расстроила Брыканова. Пораздумав, он завернул в питейное и купил шкалик, рассудив, что эта норма в грех не зачтется. С подъемом преодолевал он дальнейший путь мимо покосившихся заборов, окон в ажурных наличниках, хлобыщущих крыльями кур и невозмутимых коз, мимо опрятно сметанных копен во дворах. Ардатов пах мездровой стружаниной — многие варили на продажу клей, — навозом, молоком. Но дух доходящих по садам яблочек, тонко-сладкий, с терпчинкой, перешибал все. «Отцы терпко яблочко ели, а у детей оскомина», — с чего-то взбрело Брыканову, и он ускорил шаг. Впереди маячила кубовая пожарная каланча.

Секретарь земской управы Пикчайкин закончил связочную опись цен на продукты питания, строительные материалы и фураж по волостям и подшил переписку уездного отдела народного образования с учителями о выдаче наградных Евангелий, валявшуюся не разобранной с мая. Планы и чертежи дома караульной роты, водокачки и пожарного депо, а также бычатника и свинарника в селе Малмыжка Пикчайкин оставил на потом. К формулярам уездного лесничего, его помощника и лесных десятников тоже решил погодить приступать. Дело об учреждении и ведении Вабиной И. В. опеки над имуществом и малолетними детьми умершей жены цехового г. Ардатова Бурдовцевой А. В. ее мужем Бурдовцевым С. С. и читать не стал, плюнул. Вабина эта, родная сестра покойной, была многолетней любовницей Бурдовцева и смерти законной супруги они желали нескрываемо, а детей лучше было определить в приют, чем под руку лихой мачехи.

Зато с интересом прочел Пикчайкин очередную челобитную Мякина, лавочника, на ближайшего конкурента — держателя питейного заведения Жидкова, прежде арестовывавшегося по доносу вышеуказанного Мякина за беспатентную торговлю, о том, что в заведении наблюдается «недочет в деньгах, изрядная усушка вина и рассыропка». «Сахар, черти, добавляют. Я так и знал!», — расшифровал Пикчайкин «рассыропку» и поклялся себе, что больше к Жидкову ни ногой. Тем более, заборная книжка напротив его фамилии давно была переполнена записями об отпуске в кредит.

Вообще Пикчайкин увлекался чтением протоколов и отчетов, особенно касающихся уголовных дел и алкоголя. Например, такого сорта: «Заведения трактирного промысла одновременно с продажей вина и пива обязаны по требованию посетителей подавать горячую пищу и всевозможные закуски. Таким образом, человеческий организм, подкрепленный пищей, с большей силой может бороться с разрушительным действием вина и пива. Между тем ни в одной из 20 открытых пивных лавок, во избежание причисления к заведениям трактирного промысла, не открыта кухня для приготовления кушаний, ни даже холодных маркитантских закусок, и вся цель этих лавок заключается в достижении возможно большего потребления населением пива. Цель эта достигается с большим успехом, потому что пиво, не обладая крепостью алкоголя, может потребляться в несравненно большем количестве сравнительно с вином. Достаточно 1/20 ведра казенного вина стоимостью в 40 к., чтобы самый сильный человек отказался от дальнейшего употребления. Между тем для достижения той же степени опьянения нужно в 10 раз больше пива, стоимость которого будет выше 1 рубля. Это с несомненностью доказывает вред для населения распивочных пивных лавок вообще».

Пикчайкин живо представлял себе описанное количество напитков, сомневался в справедливости утверждений санитарного инспектора и как бы даже пьянел от чтения. Предложение о приеме пищи вне дома вызывало у него тошнотворный протест.

Еще ему попалось на глаза полгода как удовлетворенное заявление прибывшего на место удравшего доктора в земскую больницу: «Имею честь заявить о своем желании занять место

врача и сообщить о себе следующие сведения: Киевский университет я окончил в 1903 году, с марта 1904 года до января 1905 года состоял врачом Киевского лазарета Красного Креста в г. Чите. Необходимыми условиями поступления на службу ставлю наличность при больнице всего необходимого для самой широкой работы и сухой, теплой квартиры». Ишь, какой! Сухую и теплую ему, а мы помирай! Но заявление он подшил и номер присвоил.

Перед уходом секретарь оглядел свое хозяйство и покачал лысоватой головой: папки с докладами, отчетами, протоколами и постановлениями, приходно-расходными ведомостями, сметами, статистикой и письмами не умещались на полках и кое-где были упихнуты силой. Надел картуз, повел плечами под пропотовшей за день рубахой синего сатина и отправился восвояси, по дороге шуганув ос, бездвижно стоявших над обломком крохотного переспелого арбуза, в который секретарь земской управы мало что не наступил береженным, отцовским еще сапогом.

Предводитель уездного дворянства Владимир Иванович Чарыков вынужденно отправлял должность председателя уездного земского собрания. Он сидел перед накрытым завтраком у себя в Адоевщине, на левом берегу Алатыря, и нерадостно думал о предстоящем съезде в уездном центре.

Вернее, сидел предводитель в Карауловке, в доме Веры Александровны Ланской, старой девы, которой некогда принадлежали эти земли. Адоевщина, большое село, простерлась по другую сторону Миюсского оврага, отделявшего его от Карауловки, деревни тоже раскидистой. Чарыков к завтраку не прикасался и безо всякой причины внимательно смотрел на храм Рождества Пресвятой Богородицы, видный в окно. На этот храм, возводившийся 12 лет, Вера Александровна ухнула 300000 рублей. В церковном дворе она в склепе и упокоилась, но ненадолго. Останки великой добродееи вырыли и увезли в Москву, а в доме с нетронутым ныне завтраком обосновался граф Ланской Михаил Сергеевич — полная противоположность предшественницы, крепостник в осудительном литературном смысле и самодур в смысле общерусском. От его ярости, видимо, село Адоевщина и приобрело начальную адскую литературу. Увлекающиеся марксистским учением

коллеги рассказывали, что Энгельс, сподвижник основоположника (здесь Владимир Иванович коротко усмехнулся), даже упомянул Ланского в какой-то статье, поведав просвещенной Европе, как граф, прознав, что крестьян предполагается оставить на той земле, на которой застанет введение Положения, распорядился переселить их из Одоевщины на правобережье, где земля состояла из глины пополам с песком. Там они после февраля 1861 года и жили подаением.

Почуяв, что литераторы одолевают и крепостное право вот-вот будет упразднено, Ланской продал свои обильные левобережные угодья отцу предводителя, Ивану Емельяновичу Чарыкову, артиллерии капитану и предводителю тож, а также почетному мировому судье Ардатовского уездного суда. Род Чарыковых записан был в VI части дворянской родословной книги Симбирской губернии с 1859 года. Иван Емельянович оставил миру четырех сыновей. Все они пошли по земской линии. Владимир, ныне лишившийся аппетита, Всеволод, чиновник по крестьянским делам, Дмитрий, подпоручик и земский начальник первого участка Ардатовской управы, и Николай, отставной штабс-капитан. Два последних входили в состав гласных Ардатовского земского собрания. Владимир, слуга покорный, на них и опирался. Ну, конечно, и на других представителей дворянского сословия. Без друзей да без связи — как без мази: телега жизни скрипит до зубной боли. Чего стоил один князь Вадбольский Александр Иванович — неподменный Рюрикович, между прочим. Да и Березовский Александр Елеазарович, потомственный дворянин, в прошлом году избранный председателем земской управы. Красавец, молод, инициативен. Агроном 1-й степени, сельскохозяйственный институт окончил, в землеустроительной комиссии трудится. И Мельгунов Левушка, Лев Васильевич, неплох! Но редет лес дворянский, основа державная, редет и разоряется.

Земские гласные избирались по трем куриям: от землевладельцев, от городских избирателей и от сельских обществ. Но земские съезды часто откладывались, а если проводились, то в последние годы при пространнных речах и зычных криках с мест — в Ардадове силу взял сполошливый «Союз освобождения». Они и так мастера поорать как на пожаре, а теперь, говорят, в партию

переделались. А впереди — выборы. Степенные, аршин проглотившие от стеснения крестьяне, из которых гласных в конце века набиралось до 40%, теперь, в начале следующего века, представлялись в земствах единично, на правах антиков. Интеллигенции из мещан, выучившейся в земских же гимназиях и училищах, попечителем которых также являлся Владимир Иванович, не перед кем стало демонстрировать воспитание. Самоуправленческая молодежь брала за горло. Да, правду сказать, и прежние тьмочисленные крестьяне лаптем щи не хлебали, а владели домами, кустарными промыслами, скупали большими партиями крестьянский хлеб на пристанях Волги и Суры и в прилегающих уездах, начальствовали старостами сходов и мировыми судьями. Оно понятно: не было бы лапотника, не было бы и бархатника. Но ведь и богатство — вода: пришла и ушла.

Подчинялась управа уездная управе губернской, находящейся в Симбирске, в только что достроенном здании на углу Большой Саратовской и Покровской. Ардатов застраивался курмашами — прямоугольными порядками, образующими кварталы, глядящими на пойму Алатыря, и все присутственные здания располагались на базарной площади, как и лучшие дома города, и торговые заведения, а также Никольский и Свято-Троицкий собор с богатой плащаницей малинового бархата и огромным паникадиллом, пожертвованным купцом Мурашкиным. За исключением площади, ни одной мощеной улицы в Ардатове не было. Конечно, праздничный Богородичный образ храма, который Владимир Иванович созерцал в венецианское окно, ни с какими паникадилами в сравнение не шел. Московские изографы украсили икону искуснейшей резьбой по слоновой кости, и каждая деталь представляла собой законченную картину на библейские темы.

Уездная земская управа ведала устройством и содержанием плохих дорог, запоздалой земской почтой с телеграфным аппаратом, отгороженным решеткой, школами и больницами, богадельнями, приютами и ремеслами. Вдобавок надзидала управа за местной торговлей и промышленностью, ветслужбой и страхованием. Главным же и самым неуспешным занятием оставалась раскладка и контроль за сбором денежных и натуральных повинностей и организация кредита.

Промышленность ардатовская отличалась малочисленностью. На спичечном, поташном и кожевенном заводах работало с натугой человек до десяти, а то и пяти не набиралось. Да и откуда ей, промышленности, взяться, если подряды мещанам давались до четырех тысяч рублей и производства они имели право заводить только ремесленные? Мелкой торговлишкой, извозом и перебивались обыватели, содержали постоянные дворы да трактиры — это еще хорошо, а то служили приказчиками и торговыми агентами, мелкими чиновниками, посредничали на перепродаже хлеба, кож, мяса и сала, наемничали на отходе чем приведется. Сдавали жильишко, ютятся во флигелях, сбывали дрова, сводя лес, ладили телеги и сани, выделывали колеса, дуги и кадки, резали ложки и плоски, гнали деготь, плели кружева, ткали пестрядь, вязали платки да носки из кроличьего пуха. Калашникам только, сапожникам да винным откупщикам удавалось отложить на черный день. Ну, еще краснодеревщикам, освоившим изогнутую паром «венскую» мебель. А так — голь перекатная, купило притупило.

Владимир Иванович отпил кофею и заглянул в отчет о прошлогодних ярмарках уезда. 13 ярмарок в Талызине и Тазине, Алашеевке, Четвертакове, Керамсурке, Липовке, Апраксине, Знаменском, Козловке, Маколове, Дубровках, Тетюшах и Сарбаеве. Разница между привозом и продажей составила 53%. Значит, купили только примерно половину того, что привезли. Для примера, в 1892 году на ярмарках губернии было реализовано 75% привезенной продукции. И больше половины товаров составляли ткани. А нынче на шерстяные самоделы и фабричное сукно спрос упал. На краски и москательный товар — снижается неуклонно.оборот металлоизделий на 80% сократился. В Ардатове прошлый год показал цифру продаж смехотворную — 14000. А что Центральный статкомитет изображает? «Общий размер ярмарочных оборотов по привозу и продаже товаров определяется в один миллиард рублей на 16000 ярмарок, что составляет, в среднем на одного жителя, до восьми рублей, а на одну ярмарку — до 63 тысяч».

Где те 8 рублей? Откуда взять 63 тысячи? Одна радость, к открытию площадь выметут и с улиц навоз приберут да из затрапезы вылезут, принарядятся. Через город перегоняют в год от 350

до 400 гуртов, а это 10000-15000 голов крупного рогатого скота. Так и останется Ардатов в истории скотопрогонным трактом. Да еще «русская кочанная» уезд прославит (сам-то помещик Чарыков из сортов капусты предпочитал «пудовую» и «браунколь»). Осенью из Ардатова в Симбирск, Самару, да и по всей Волге перекочевывали до 30 тысяч кочанов. Пол-уезда баб сходилась на «помочь» при квашении. Ну и тележники ардаатовцы неплохие.

И ведь фактически при крепнущем капитализме царит на ярмарках феодальный обмен! Привезут крестьяне из имений хлеб, муку, сало-мясо да мед, да сельхозинвентарь домодельный. Это все приказчики скупают и в лавках перепродадут. А увезут по деревням сахар, соль да, словно индейцы американские, польстятся на платки, ленты, бусы, серьги-кольца для баб и всякие петушки-свистушки для ребятишек. Ну, лапти еще. Куда ж без лаптей! Сами-то плеть вконец разучились, что ли? Ну, французскую фальшивую борьбу посмотрят да водевиль «Жена ой-ой, а муж увы». Пошлость одна! То ли дело на суконной фабрике в Языкове — там купец Степанов такой театр закатил! Причем играют сплошь фабричные, да так, что слеза прошибает. Московского дирижера выписал, консерваторца, для духового оркестра, из 50 деревенских ребят собранного, и хор балалаечников впридачу «Из-за острова на стрежень» выводит. Вот тебе и пьеса «Вишневый сад»!

Земская печать не уставала трубить, что периодическая торговля в России преобладает не просто так, а избавляя мелкого производителя от разорительной власти скупщиков и торговцев. Но на самом деле главенствовал в торговле по-прежнему развоз-разнос. Владимир Иванович кисло припомнил, как земское собрание отклонило ходатайство о проведении очередной ярмарки, пополняющей, между прочим, их же, земцев, хилый бюджет, по тем соображениям, что ярмарка, мол, служит в ущерб жителям, собирающимся не столько для торговли, сколько «для пьянства и праздного препровождения времени». А то они между ярмарками пересыхают! Хотя, поди пойми, в Общество народного трезвения в очередь записывались. После такого воспоминания Чарыков положил в рот прозрачный срезок швейцарского сыру и решил подумать о приятном.

Приятное в его земской повинности, что ни говори, составляла медицина. Считанные годы назад на весь уезд было четыре врача. Бал правили фельдшеры, а уж они лекари знатные! Да ведь и то сказать — оклад докторский поболее фельдшерского, а средства откуда? Лебеда придорожная пропагандировалась как полезный пищевой продукт. Детская смертность колоссальная, эпидемии — от холеры до гриппа. И население при этом росло как на дрожжах. А в 1901-м уже 5 врачей, 1 фармацевт, 4 акушерки и 9 фельдшеров. Теперь докторов уже шесть, и по наличию медицинских кадров Ардатовский уезд первый! Особенно сердце предводителя ласкало Хухорево, что в 35 верстах от Ардатова. Конечно, там все держалось на Воздвиженском. Но и роль земства преуменьшать не стоило. Хухорь по-здешнему «мельник». И шатровых ветряков, покрытых дранками, на селе было семь штук. Семейства объединялись по три-четыре — и ставили. Пшеницу дробили на крупчатку, рожь на раструсный помол и просо на толченое пшено из просорушек. Полвека назад в Присурье вертелось 175 водяных и 845 ветряных мельниц. Но Хухорево богатело — у отца-настоятеля гардероб состоял из 12 риз. Помещик Кермалов — либерал и прогрессист, гласный губернского земства. Янов и Галахов, обустроившие систему рыбоводных прудов, не давали селу заплошать. Нет, не справедлив был писатель Гончаров, Хухорево выведший в образе Обломовки!

Больничку Воздвиженский, по сути, на свои деньги соорудил. Пожертвований первоначально собрал всего 800 целковых. Земские-то ни копейки не дали — не верили в затею, хотя доктор до Хухорева пять лет в земстве отрубил, не чужой. Только когда князя Вадбольского попечителем избрали, дело сдвинулось. Крестьяне помогли. Десятину земли выделили, бревен привезли. Сперва на 4 койки открылось учреждение, потом до 10росло. И аптека, и операционная комната, и приемный покойчик, и кабинет смотровой, и амбулатория, и банька — с крестьян поступивших коросту отдирать. Кто убедил земство создать десятиверстный радиус лечебного обслуживания? Воздвиженский! На съезде врачей кто ярче всех выступал? Воздвиженский! Устав Врачебного Совета кто разработал? Воздвиженский! Одобрения губернского присутствия Устав тот не получил — дескать, работу

земских комиссий дублирует, но и что с того? Кто их слушает? Деньги-то в уезде собираются, какие ни на есть.

Нет, ардатовский доктор другой породы! Гордый, из поляков. Встретили его как родного. Станция в 10 верстах от города, но все уездное началие сквозь метель февральскую выдвинулось. Станционный смотритель Охотин чуть в обморок не хлопнулся. Чарыков, сам от себя не ожидая, хохотнул, воссоздав диковинные имена отпрысков смотрителя — Мелетины и Ювеналия. Словно Охотин приходился внуком Манилову. Сошел доктор с поезда, жену ни на шаг не отпускает, смотрит волком, росту исполинского и в очках к тому же. И заявление его дерзкое о предоставлении квартиры Владимир Иванович не забыл. Воздвиженский года четыре при больничке ютился с женой молодой. Стены на оконных косяках держались, в печах щели в руку. И не роптал! «Мужики, — говорил, — хуже живут». Народник, культурник, одно слово! Больница новичка не устроила, весь на претензии изошел. Оборудование плохое, фельдшер немый. А у самого опыта совсем никакого! И чем ему больница ардатовская не угодила? 35 коек, не то что в Хухореве. Под хирургию изначально приспособлена. Но, правду сказать, врач от Бога. Оперировать начал с первого дня и трудится по 16 часов. Но не земской косточки. За народ живота не положит.

В столовую просунул голову лакей Гаврила и с чувством произнес:

— Пора, барин! Экипаж подан.

Владимир Иванович вздохнул и выдернул салфетку из-под пластрона. Надо было ехать открывать ярмарку.

Большие Монадыши, Кочкушь и Портовки, Вечкусы и Пичкасы. Загудаевка и Ляховка. Кому товар красный, кому из колоний, кому сошники пахотные, кому сырье, кому вот пенька, горшки и грабли, калачи и семена? Зачем ярмарка, когда окрест лавок три десятка и базар? Завозный склад — заведывающий Неудачин. Бакалея. Мучлавка. Вино-кондитерский магазин «Франция». Колбасное заведение. Кожевенная торговля Бдиля. Валяная обувь. Галантерейный магазин «Большая Катужка». Мануфактурный магазин и рядом, как зуб к зубу, — розничный магазин

сукон. И — без отдышки: «Москательный торг». «Москательная торговля «Унион», «Москательный магазин «Москатель». Здесь что, о конкуренции не слышали? Слышали, да из уха выпало. Как отцы жили, так и мы живем.

Магазин — себя прятать, бедность свою и ничтожество в карман убирать. Пришел — плати. Ярмарка — себя показать. Весь день ходи, ко всему приценийся, до икоты торгуйся, в жменю плюй, по рукам бей — и отходи порожно. Лавка — исповедь. Ярмарка — театр.

Где-погде у нас Ундоры? Здесь сам Великий Князь Алексей Александрович возжелал провести день ангела своего! От мала до велика притолклись ундорцы на пристани. Как же! Четвертый сын Царя-Освободителя, начальник флота, генерал-адмирал. И каждый к ручке подошел:

— С анделем, Ваше Инператорско Высочество!

— С анделем!

Ажно слезы, как трогнуло!

Обедню прослушал, голубчик, и молебен отстоял. Иерея удостоил посещением. 100 рублей на причт и 100 рублей на бедных пожаловал. Господский дом и суконную фабрику обследовал. Откушать изволил на пароходе. После обеда угощал крестьян апельсинами — косорылились, а жевали, сплевывая украдкой желтуху. Всякоразличных заедок скупил, сколько нашел, так что зубы у ребятишек слиплись. Девоч в лодки рассадил, чтоб с песнями плавали, а кто на берегу в оставе, те хороводы водили. Катался по селу верхи, в три избы зашел запросто, но тут косохлест ливанул, отвели Его Высочество в укрытие. Управляющего именем золотой булавкой одарил. Вот чего Ундоры видали! Кто ж знал тогда про Цусиму? Оговорили генерал-адмирала, причинником поставили. Была бы спина, будет и вина.

А шиловцы где, шиловцы из Тушинской волости? Не по их ли земле течет родник «Понижное горлышко» в открытом поле и вдруг пропадает безвидно? А по дороге в Сенгилей не у них ли нашли кости человечии нечеловечьих размеров? Не в Шиловских ли горах мел добывают по 400000 пудов в год? Там и рабочих не надь, ямы меловые сдают крестьянам, те копают и свозят мел на пристань по копейке с пуда. Да 80 семей тем кормятся.

А Большие Березники где? Эй, сурские, выходи! Всё сурянки ладите с гусянками, расшивы, барки-полубарки мастерите? До полутыщи судов пристань Большеберезниковская принимает. Корап на ярмарку не принесешь. А хлеб добрый из «карсунки-белицы» еще пекете? Из первых в России хлебец! Муку с ваших мукомолен аж в Петербург закупают. А где кузнецы, бондари, гончары, плотники, слесаря, рогожники? Все на своей, на ярлинской ярмарке? А каменщики, никак, на Дон подались? Бондари и печники в Астрахань ушастали? Кузнецы в Самару, шерстобиты знамениты в Саратов ушлепали? Или вас маклаушские сборолы войлочными шляпами да сапогами? Нет, маклаушские за Волгу собрались с товаром! Одни окольные торгуют, а они нам и в будни глаза понамозолили.

— А вот кому лудить-паять, сапоги тачать, бороды брить?

— Ах, не за тем и не за этим

Мы на ярманку идем!

Не крестьянские приуготовления, не рукоделья — качели-карусели да американские горы нас манят. Балаганы, райки да вертепы прельщают. Шатры брезентовые и доски неструганные, за которыми рыжие белых бьют и голы акробатки выпендривают.

Ходит, ходит по ярмарке мордочка, девочка-чумазлайка, косы неделями не плетены, ноги обутки не знают. Ходит-ходит, да и остановится:

— Не обмеривай, не обвешивай!

Дале двинется:

— Не обмеривай, не обвешивай!

— Ты чия така? — спросят посторонние.

Свои-то ее все знают. Она как и не растет словно. И год назад, и два — все одинакова.

— Божия, — девочка скажет.

И опять за свое:

— Не обмеривай, не обвешивай!

Один на нее гирю поднял — и упал подкошенный, самому себе замашкой в лоб закатал.

Торговец какой ее шуганет, а какой огурчик даст. Идет дальше, не ест огурчика.

— Как звать тебя?

— Маргаритою.

Что за имечко заморско? Опять:

— Чия?

— Божия!

А за девочкой дурак, Лутона. Потеет страшно, льет с него, потому и Лутона:

— Царя не будет! Царя не будет!

— Лутонюшка, где не будет Царя?

— Нигде не будет!

— А куда ж он денется?

— Убьют, спрячут! Убьют, спрячут!

Лутонаю никто никогда не трогал, но тут немедля вывернулся городской Зелепукин, уже изрядно принявший, и погрозил «селедкой»:

— Ты мне агитацию брось! Нам революциев не надобно!

— Нет, нам новые порядки ни к чему, — с ним согласились выпившие. — Деда наши управлялись Царем, и мы без Царя жить не будем. Лутона, выпей с нами! За Царя-батюшку! Да оботрись — мокрый, ровно хлющ.

— Не будете жить! Не будете! Пресмыкаться будете. Крови из вас выпьют ужоточки! — не унимался Лутона.

— Не пужай! Японца не боялись!

— Ага, не боялись, — откуда-то взялся неизвестный в пинжаке. — То-то в плен полками сдавались.

Сказал — и сгинул.

— Своих бойтесь! Своих бойтесь! — кричал Лутона.

— Уйди, Лутона, наянливый какой!

Отошел недалеко, плачет. Или изопрел так?

А у цирка старик слепой стоит из года в год:

— Подайте, Христа ради! Я Пушкина видел!

Подают по грошику. Кто училище кончал, интересуется:

— Где ты Пушкина видел, старый? Во сне?

— Наяву видел! На почте в Ардатове. Логвинов я, помощник почтмейстера.

— Да Пушкина лет под семьдесят как нет.

Слепой опять:

— Подайте, Христа ради! Я Пушкина видел.

Что с ним поделаешь? Убогий! Посмеются — и в цирк по билету, дальше смеяться.

А тут уж было подрались:

— Пошто трогаешься, я тебя не занимаю!

А там облупили разяву мазурики, ему сочувствуют, об небо цокают:

— Да, крадежь нынче большая пошла.

— Сверху донизу, почитай, тибрят!

А то баба набузыкалась, хорошо ей, поет:

— Меня не вся деревня сушит —

Только маленький краёк,

Только маленький краёк —

Чернобровый паренёк.

Потешаются, пальцем показывают. Пьяная баба тут пока в диковину.

А девочка Маргарита позадумалась чтой-то и огурчика дареного откусила. Никогда не брала, а тут хрягнула. Поперек ей встал огурчик, не отдышит. Вичат все, за ноги взяли, трясут, а она синее, ровно голубь.

И тут какой-то здорovenный, с оглоблю, глаза в стеклах и с мадамою под ручку:

— Спокойно! Я врач!

Вырвал Маргариту у трясунов:

— Быстро полотенце или тряпку чистую!

Холстину с лабаза стянули. Он девочку спеленал, как нарощеную. На лавку присел, Маргариту в коленках зажал, мадаме своей приказал:

— Платок дай! И держи!

А народу:

— Водки живо! И перо гусиное выдерните.

Думали, выпить хочет со страху. Поднесли. Гуся словили — их на ярмарке цельный ряд. А он достал ножик перочинный, перо обчистил, лезвие и перо казенкой облил и руки обе — что добра-то перевел! Мадама ему не по-нашему:

— Трахеотомия? Канюля?

Он кивнул и опять:

— Держи!

Та вцепилась, а он как резанет Маргарите по шее и присосался.

Баба враз протрезвела:

— Упырь! Упырь!

А у стеклоглазого уже кусман огуречный в зубах. Сплюнул, перо в горло вставил, водкой рот ополоскал, Маргарита и задыхалась, зарозовела. Он ее на руки и своей мадаме:

— В больницу! Хорошо, что в бронхе не застрял.

Загомонили, опомнившись:

— Дохтур! Дохтур! Спаси Господь!

А Лутона, приблизившись:

— Епископ! Епископ! Кланяйтесь!

Дохтур на него глянул:

— Какой епископ? Я в храме год не был.

Лутона вдруг высох, как обтертый:

— Благослови, Владыко! Вем, Господи, яко недостойне причащаюся Пречистаго Твоего Тела и честныя Твоя Крове, и повинен есмь, и суд себе ям и пию.

Дохтур приостановился:

— Что, что ты говоришь? Это же Василий Великий! Ты приходи в амбулаторию, анализы сдай. Гипергидроз у тебя.

Лутона ему:

— Помрем — только Святое Причастие останется.

Дохтур:

— Что, что ты такое говоришь?

Как девочка отживела, все вперебой:

— Дурак он, дохтур! Несмысленный ничево.

Тот с высоты оглядел, аж мурахами обдало:

— Для меня нет ни дураков, ни умных. Только больные и здоровые. Последних немного.

И пошел с Маргаритой наперевес.

Ярмарка на уклон... Осень на носу...

Продолжение в следующем номере.

Виктор Коврижных

Родился в 1952 году. После окончания средней школы трудился трактористом и электросварщиком. Служил в армии, работал на угольных предприятиях Кузбасса шофером, машинистом железнодорожного крана, составителем поездов. Последние 15 лет работал в МЧС начальником караула при пожарно-спасательной части. Автор восьми поэтических книг. Стихи и проза публиковались во многих литературных журналах. Лауреат литературных премий: имени В. Фёдорова, «Образ», журналов «Огни Кузбасса» и «Сибирские Огни». Член Союза писателей России. Живет в поселке Старобочаты Беловского района Кемеровской области.



Знамение

Бабка Лукониха видела бога.
Видела дважды — на зорьке и в полдень.
Бог продвигался вдоль Волчьего лога
весь осиянный и в белом исподнем.

С утра обошла всё село и селянам
гуторила новость про чудо святое:
— Гляжу: он идёт, нет, плывёт над поляной,
а над головою кольцо золотое...

И робко вздыхая, крестилась на гору.
Её утешали резонно старухи:
— Знать, сыну Валерке амнистия скоро
иль будет от дочки письмо из Мозжухи...

Наверно, ей это приснилось. Поскольку
старуха — одна, да и бог в её сказе
был явно похожим на Климова Кольку,
что уголь привёз ей бесплатно на МАЗе.

Ночь Гоголя

Смотрел на свечу и бумагу,
как воск на подсвечник течёт...
И вот из глухого оврага
явился с чернильницей чёрт.
Но следом торжественно-строга
Надмирный прорезался Свет,
который горит раз в сто лет,
чтоб сердцем прозреть перед Богом.
Но в смысле высоком знаменья
душа не признала родства.
Он Свет, что был дан во спасенье,
легко переплавил в слова
восторга, печали и гнева...
И чёрт, осознавши сюжет,
не загораживал неба,
чтоб виден был божеский Свет.
Задумались травы и реки,
и всадник над степью взлетел,
и подняв набрякшие веки,
вгляделся в грядущий предел.
Вздыхал за деревьями ветер
из прошлых полынных теней.
— Что видишь ты там, за столетьем?
— Я смерти не вижу своей...

Старая кузница

Копоть и сажа погасших огней.
Вход занавесил подрост тальниковый.
Не оседлать здесь воскресших коней —
ржой изошли стремяна и подковы.

Звон наковальни полынью сокрыт,
зябко несёт из дверей пустотою.
Так просветлённой прохладой сквозит,
будто под кузней колодец с водою.

Льются протяжно сквозь щели лучи
цветом вечерней щемящей печали.
Словно наивного счастья ключи,
счастья, которое не доковали.

Полуистлевшие спицы колёс,
мохом покрыты венцы и стропила.
Ветхую крышу прошила насквозь
жгучим дремучим побегом крапива...

В полночь под лай деревенских собак
скорбная тень кузнеца оживает.
Тяжко вздыхает и курит табак,
в горне остывшем золу разжигает.

Глухо меха проворчат, и огни
вспыхнут на время и тут же погаснут.
Словно хотел озарить наши дни,
но убедился, что это напрасно...

Реки Алтая

Полноводная Бия, седая Катунь,
Обь, бурлящая громом столетним.
И над вами такой благодатный июнь!
Подними веки Вию — ослепнет.

Величавый покой и задумчивый бег
вод, где зябко в глубинах искрится
деревянное солнце крестьянских телег,
из небес пасторальной столицы.

Чьи тут мифы и тайны осели на дно
и томятся во мгле ожиданий?
Будто вовсе не воды — течёт полотно
древних свитков былин и преданий.

Ваша память в мерцании лиц и имён
пролегла далеко и глубоко:
до пещерных племён, до истоков времён,
где лицо отражается Бога.

И душа моя вздрогнет и, вторя листве,
затрепещет светло и печально.
Словно с вами она состояла в родстве
в сокровенных глубинах начальных.

Берендеевый полдень, полёт облаков
над сиренью распахнутых улиц.
Да прибрежные камни, как эхо волхвов,
что из странствий камнями вернулись.

Отворяйте врата ваших альф и омег
до цветущей черёмухи мая!
Принимаю, мой друг, красоту ваших рек
и зачем нам она — понимаю...

Рассыпай, балалайка, аккорды
о распахнутом в полночь окне,
как Коврижных, жиганская морда,
стал известным поэтом в стране.

Пусть не зван я на телеканалы,
но охотно мою пастораль
публикуют во всяких журналах,
на Байкальский зовут фестиваль.

Видно, местность в Бачатах такая,
где таёжные дали глухи,
вдруг прольётся тоска золотая,
что невольно напишешь стихи.

«Знаю, знаю», — сказал уже Тряпкин.
Но что делать, коль выпало так:
огород, палисадник и грядки,
и на грядке цветёт Пастернак;

что плывут парусами Гомера
облака над окрестным холмом,
что над старым отвалом карьера
кузнецовский просыпался гром?

И свою балалайку настроив
на особый лирический лад,
я пою про былинных героев,
что глядят из небесных палат,

о берёзках, заплотах дощатых,
про медовый над пасекой звон,
про корову и дом свой в Бачатах,
где по праздникам пью самогон.

Ни к чему мне планида другая,
мне в деревне понравилось жить.
Может, петь мне Господь помогает?
Я не знаю... Но всё может быть.

После грозы

Прояснились небесные глаза,
раскинулась дуга над водоёмом.
Брела на север медленно гроза,
окрестности облаивая громом.

Дымился под лучами чернозём,
ручьи бросались весело с обрыва.
И наливалась жгучим кипятком
на пустыре воспрявшая крапива.

Закопошились куры в лопухах,
томился запах сена под навесом.
И, не успев обсохнуть, на глазах
ржавело возле кузницы железо.

Кипела в палисаднике сирень
и, затаив дыхание, Природа
глядела на умытый ясный день,
как на младенца после трудных родов.

Там, в народной глуши...

Подпоясаны дни то вожжой, то тесьмой.
Живы хлебом и небом разлук.
Деревянными буквами пишут письмо
В министерство почётных наук:
Как построить за баней Егора сельмаг,
Институт благородных колёс,
Чтоб прислали на почту казённых бумаг,
Чтоб земную помазали ось.
Дескать, время скрипит, будто ржавый засов,
Отстаёт от метро и ракет.
Длится день двадцать семь с половиной часов,
Ночь? — единого мнения нет.

Непонятого свойства часы и труды.
То ль ночуют кудесники тут?
На неделе семь пятниц, четыре среды,
Дни другие — в сарае живут.
Из дремучих подворий, бурьянов глухих
Бесполезный айфон голосит.
И колхозное знамя побед трудовых
Над избой комбайнёра висит...

Там за Лысой горой — царство вечных болот,
Где по воле небесных огней
Истребительских войск утонул самолёт
И поэт евразийских кровей.

А за взгорком — простор! Свет небесный высок,
В синеве соловейки полёт.
Берендеевым солнцем пронизан лесок,
И душа пасторали поёт!
Выйдет в поле старик, ветхой жизни жилец,
И взглянется в сияющий зной.

Так глядит далеко, словно видит дворец,
Где Господь проживает с семьёй.
В остальном, как и всюду: изба, огород
И следы заплутавших колёс.
На кривое крыльцо выйдет в валенках кот,
Спросит вежливо: «Рыбу принёс?»
Голосистый петух известит в лопухах
Об итогах хозяйских забот.
Электронное время придёт в сапогах,
Постоит... И обратно уйдёт.

Там, в народной глуши, бродит хмелем трава,
Облака серебрятся вдали.
Там для песни полезной сыскали слова,
только музыку к ним не нашли.
Там закатных коней стерегут до сих пор
На зелёном в ромашках лугу...
Я б срубил там избу или даже собор,
Да топор подобрать не могу...

Притихнут цветы во саду-огороде,
нашепчет мечта мне пустые слова,
что стану и я популярным в народе,
как «Поле чудес» или шоу «Дом 2».

Возможно, меня по шукшинскому следу,
в Москву пригласят и отвалят щедрот...
Но только туда я уже не поеду —
далёко, накладно и возраст не тот.

Мне славы районной — и то уже слишком.
Довольно, что нравлюсь друзьям и родным,
что плотник Лалетин берёт мои книжки
и вслух их читает детискама своим.

Геннадий Клепиков (1939-1994)

Родился в селе Быстрый Исток. Работал журналистом в Забайкалье и в родном селе. Публиковался в местных изданиях, в журнале «Алтай». Автор книги «Рукавички-варежки», изданной посмертно в Бийске в 2013 году.



ТО БЫЛО РАННЕЮ ВЕСНОЮ...

Только на исходе вторых суток глубокой ночью вышла она к лесному одинокому бараку и, отдышавшись, побарабанила негнуцимися костяшками пальцев в раму крайнего окна. Усталости она не чувствовала, она не могла ее чувствовать, одеревеневшие мышцы работали механически.

— Кого там черт еще несет? — спросил знакомый бабий голос.

И тогда она заплакала. Она плохо помнила, как ее втащили в успевший остыть барак, как раздевали и растирали онемевшее тело, о чем спрашивали. Она не отвечала на расспросы, и дивились поутру бабы, работавшие на лесозаготовках: лошади нет, а сани, хомут и вся сбруя есть. Разные высказывались предположения, пока не была высказана догадка, что «сани она, Маруська, на себе приперла. Это от города-то, семьдесят пять верст! А значит, случилась с Маруськой беда, раз вернулась без лошади».

Она проснулась и подтвердила догадку: пропала лошадь, на которой нарочная леспромхоза увезла в город новобранцев. И страшно было явиться к директору леспромхоза — жесткому

однорукому человеку, чтобы объявить о пропаже. Знала, что перед ним не помогут ни молитвы, ни слезы, ни стакан самогона, ни обещающая бабья улыбка. Кремень был однорукий, оставивший свою руку в самом пекле войны, под Москвой.

— Рассказывай, как коня проворонила! — только и сказал директор, когда она бочком проскользнула в его кабинет, где от раскаленной докрасна «буржуйки» пробегали теплые волны воздуха.

«Рассказывай!» А что рассказывать? Привезла новобранцев в райвоенкомат, всплакнула маленько. А дело к вечеру, конь подустал, стала о ночлеге думать. Городишко небольшой, а все чужой. Новобранец, племянш Петька Пересторонов, и дал адресок: хорошие, говорит, люди живут и за ночлег берут недорого. Приехала по адресу. Дом кривобокий, со всех сторон разгороженный, пожгли ограду, видать дровишками бедствуют. Но из трубы дым идет, печка топится. Постучалась в двери, выглянула в сенцы старуха. «Чего тебе?» — спросила. Она и ответила, что в поселок возвращаться поздно, вот люди добрые к ней направили. «Ночуй!» — разрешила старуха.

Распрягла она Карьку, привязала к задку саней, мешок с овсом пододвинула. Хомут, сбрую на руки и в дом к теплу. А как вошла, забоялась. Сидят на лавке два мужика, в нарисованные картишки играют. Малый мальчишка на мешке сухарик грызет, точно мышонок. «Ты не бойсь! — ободрила ее старуха. — Полезай на печку, она теплая. Да хомут с собой не тащи, кого там запрягать будешь?». Но она хомут с собой на печку под голову, да угрелась в тепле, задремала. Казалось, на минутку, а проснулась — печка холодная. Но не холод разбудил — тревога. Сунула руку под голову, хомут на месте, малец прикорнул рядышком. В темноте окошко белеет. Соскользнула она с печки, огляделась, мужики «валетом» на лавке, старуха под лоскутным одеялом скорчилась на железной кровати с шишечками.

Толкнула она избяную дверь, не поддалась, в затворе замерзла. Толкнула сильнее, заскрипела дверь по-старушечьи вполголоса. Опахнуло холодом. Она поплутала в сенях, пока двери искала. Отодвинула запор, на улицу шагнула. Далеко вокруг луна высвечивает, слежалый наст под ногами похрумкивает. Сани на месте,

на них мешок с овсом, а коня нет. Протерла она глаза кулаками, уж не сон ли снится, нет коня, как и не было. Обежала вокруг кривобокий дом. Ни коня, ни хотя бы следа. Может, оторвался, а может — свели. Захолонуло сердце, не помня себя вбежала она в избу и в плаче зашлась.

Повскакали мужики с лавки, со сна ничего понять не могут. Поднялась старуха с постели, зашаркала босыми ногами по полу, выдула огонь из загнетки, зажгла лампу. Она им про коня. На нее даже никто не рассердился, пропажа коня — дело нешуточное. Хорошо, откупиться дадут, да есть чем откупиться, а то и срок корячится: конь казенный, небось, к мобилизации приписанный. Порешив между собой, посоветовали обратиться в городскую милицию, чтобы как бы оправдательную бумагу выдали.

Дождалась рассвета. Расспрашивая встречных про коня, она добралась до милиции. Дежурный пил кипяток из железной кружки, наверное, хорошо выпался. Выслушав историю о пропаже, он деловито отставил пустую кружку. «Плохи твои дела, тетка, — сказал милиционер, — совсем плохи. У нас на прошлой неделе паровоз из депо угнали, найти не можем, а тут лошадь. На махан твоего конягу пустят, если с вечера не пустили. Да ты не реви, похожу по базару, может, кого с пирогами из конины и выявим. Тогда в известность и поставим. А то, может, в леспромхозе конь объявится, ты из какого леспромхозу? Да и не врешь ли про коня, тетка?

Тетке в ту пору двадцать шестой год шел, была она бабонька ядреная, кровь с молоком, сибирячка, не из робких. Ночной испуг с рассветом отодвинулся. И когда милиционер попробовал потрепать ее по плечу, она брезгливо отбросила руку.

— Ну, ты, плешивый, — милиционер был без головного убора, — ты сначала лошадь сыщи, потом уж с руками. Может, чего и получится.

Пообещала она зло.

— Выметывайся отсюда, — озлился милиционер, — ходят тут всякие. Коня, видите ли, им подавай. А «тройку» не желаете?

С тем и выкатилась из отдела милиции, себя вгорячах ругнула. Милиционера-то за что, может, у него и в мыслях ничего плохого не было. Отыскала дорогу в военкомат, но там все было закрыто,

может, рано еще или выходной. Едва добралась до кривобокого дома, и там — замок, прямо как в пословице: поцелуй пробой да айда домой. Хорошо, сани на месте. Хомут и все прочее с собой по городу таскала. Присела на сани, подумала. А выходило все к одному — надо домой вернуться. Но теплилась надежда — вдруг конь ненароком отвязался, да и ушел знакомой дорогой. А сидеть — чего высидишь.

И решив так, стянула она оглобли через седельник, навалилась грудью на сыромятный ремень и тронула поклажу с места. И показалось ей совсем не тяжело и не страшно. И только на исходе вторых суток глубокой ночью дотянула она свой воз до знакомого лесного оврага, где коротали ночь односельчанки и чужие женщины, призванные на лесозаготовки, обременительней которых была только окопная мужская работа.

И вот стоит она перед директором леспромхоза, у которого одна рука настоящая, другая протезная, в кожаной перчатке. И он ей жестко — «проворонила». Некогда ему слушать сбивчивые объяснения, да и она не станет ему рассказывать, как проворонила. Она молчит, и однорукый, устав слушать молчание, говорит:

— Даю неделю сроку. Не найдешь лошадь, корову конфискуем. Корова есть?

— Есть, — одними губами подтверждает она и выходит из кабинета, благодаря судьбу, что есть корова и недельная отсрочка.

А то бы страшно подумать — тюрьма. Такое случалось. И снова испуг ознобом прошелся по телу.

Она не сразу вошла к себе в дом, хотя не была три дня. Сначала заглянула в сараюшку, откуда пахнуло коровьим теплом и сеной прелью. Корова — рыжебокая Зорька — потянулась к хозяйке мордой, шершавым языком сунулась в ладонь и, не найдя в ней ничего, обидчиво отвернулась. Корова уже отдаивалась. Молока она давала с литр, но его хватало Саньке с Любкой — довоенной поросли. Заждались они мать, надеясь на гостинцы из города. И, слава Богу, были они на попечении свекрови — костистой и печальной старухи, получившей с начала войны две похоронки, на старшего и младшего сына. Среднего сына, мужа Маруси Егора, война пока не тронула, но старухе снились страшные сны, от которых она кричала по ночам и слепла. А может, не от снов

слеpla, от горя. И Маруся решила не пугать свекровь сообщением о пропаже лошади. «Скажу, что в город сызнова посылают, а там видно будет».

— Маманя, мне завтра с утра обратно в город, — только и сказала с порога.

— Раз начальство посылает, куда денешься, — не стала возражать свекровь. — Ты садись щец покушай, пока ребятенки спят.

Весна в тот год выдалась ранняя, но санная дорога, по которой она держала путь в город, за ночь подмерзла, и лишь кое-где в ложбинках, где колея углублялась полозом, ноги нащупывали неверный ледок. Ни по сторонам, ни впереди — ни огонька, но светились звезды, в высоком морозном небе они словно перепархивали в просветах хвойного бора. Когда сосны отступали от дороги, открывался Большой Ковш, указывая направление к городу.

Прошлой ночью, когда она тащила по темному бору сани, ей не было страшно, некогда было бояться, безмерная, смертельная усталость заслонила все остальное. Сейчас же затемненный, подступавший к санной колее подлесок, каждое дерево в нем таили опасность, пугали зверем, нечистой силой, дезертиром, темными людьми, появившимися, по слухам, в здешних борах. Она все шла и шла, творила про себя сон Богородицы — молитву, запавшую в памяти с детских лет и сгодившуюся для сегодняшнего дня: «И кто сон этот будет знать и три раза в день читать, будет спасен и помилован в поле и дома, в пути и дороге. И даст ему Господь всякой радости и благодати».

Многие слова забылись, вылетели из головы, и она не могла определить, где слова молитвы, где придуманные. Начинался рассвет, впереди над лесом обозначилась белесая полоска. «Шла мать Мария из города Иерусалима, шла — приустала, легла и увидела сон чуден и страшен». Сорвался с сосны глухарь, а может, другая птица, сронил с веток ком снега и умчался, заполошно хлопая крыльями, в глубину бора.

К полудню и без того некрикливый базар и вовсе пошел на убыль, пустел торговый ряд, расходились люди, а она все стояла на булыжной улочке у базара, и всматривалась: не покажется ли ее карий. Окликнули ее неожиданно. Оглянувшись, она узнала плешивого милиционера, с которым так споро рассчиталась три дня назад.

— Ну что, не отыскала конягу? — спросил он.

Она помотала головой.

— Плохи твои дела, — сказал милиционер. — У нас из депо паровоз угнали, сыскать не можем.

Он, вероятно, забыл, что уже рассказывал ей про паровоз.

— По слухам, в Верх-Угренево коня пришлого обнаружили, — добавил милиционер.

— Карий с белыми бабками?

— Вот про это ничего не известно.

Она забыла поблагодарить милиционера, а спохватилась — и нет его нигде. И узнать не успела в какой стороне это Верх-Угренево.

Указали ей выход на Угреновскую дорогу, и она, пожевав купленный на углу холодный базарный пирог, пройдя лабиринтом улочек, стала снова удаляться от города. Прикинула в уме — тридцать верст ей по силам: за оставшиеся полдня, да за два-три часа вечерних, сможет добраться до недалекого теперь уж села. Дорога тянулась бором, чужим, и оттого неприветливым. К дороге вплотную подступали овраги, заросшие дубодерником, откуда уже надвигалась темнота. Болезнь, как будто отступившая с утра, снова давала о себе знать ознобом и плывущей перед глазами паутиной. А может, была это вовсе не болезнь, а смертельная усталость. И она решила, что остановится на ночлег в первой деревне, в первой избе, лишь бы на ночлег выпроситься.

Но в тот день ей повезло. Когда дорога выбралась из бора, запетляла пологими увалами, ее догнала лошаденка, запряженная в розвальни. Она отступила в снег, пропуская обгонявших, но розвальни остановились. Тщедушный мужичонка в облезлом заячьем треухе махнул рукавицей, приглашая в сани, и она безразлично последовала приглашению.

Мужичонка попался из тех, кто, видать, мыкнул на своем веку, и не пускался в напрасные разговоры: «зачем?», «куда?» да «откуда?». Понимал, вероятно, не от хорошей жизни пускается человек в дальнюю ли, ближнюю ли дорогу пешком. Он все подремывал, и девочка, ехавшая с ним, уснула, прислонившись к неожиданной попутчице, во сне отдавая ей частичку тепла. Так и доехали.

Уж которую ночь она ночевала в чужой избе, чутко вслушиваясь в тишину, прерываемую людским бормотанием и вздохами, шуршанием то ли мышей, то ли домового. Утром она протянула деньги за ночлег, но их не взяли, сказав: «Чего на них купишь в нынешние времена. Вот если б кусок мыла или катушку ниток... Да ты сиди, девка, куда в такую рань?»

Из переднего угла с божницы на нее смотрел суровый лик святого, и она вдруг решила рассказать о своей пропаже, о негибаемости однорукого директора, о недельной отсрочке на увод коровы.

— Слыхал я, есть у нас пришлый конь, а вот какой он масти, врать не буду, — сообщил хозяин, сам похожий на святого в белой домотканой рубаше. — Наш председатель трусоват. Ты его на арапа и бери. Если твой конь, отдаст, куда ему деваться. Да милицией припугни, раз милиционер знакомый в городе.

Но милицией пугать не пришлось. Разговор с колхозным председателем был коротким.

— А пачпорт при тебе? — спросил председатель, выслушав претензию.

— А у тебя все колхозники при паспортах? — в свою очередь спросила она председателя.

— Да не о твоём пачпорте речь держу? Пачпорт на коняку при тебе, спрашиваю?

Краем уха она слыхала, что на всех лошадей оформляется бумага, где указывается кличка и масть, возраст и особые приметы, высота в холке и прочая, и она твердо ответила:

— А как же без паспорта!

Они шли с председателем мимо завозни, мимо амбаров и сараев, мимо изб с дымящимися трубами. Дорога привела их к конюшне, где во дворик уже выводили лошадей. Часть колхозного табуна подбирала остатки соломы, заданной с вечера, а отдельно темнел ее карий с белыми, как в носочках, бабками.

— Карька, Каренька! — позвала она вмиг обмершими губами. — Миленкий ты мой...

Конь прынул ушами, вытянул морду в ее сторону и, словно боясь ошибиться, осторожно заржал.

ТРЕТЬЯ

Я не воевал, год мой не подошел, да и фигура подкачала: горбат с малых лет. Но война у меня вот здесь, в горбу за села. Голоду натерпелись само собой, в нашем селе старики посейчас сухарики сберегают. Но не голод запомнился — страх.

Как мужиков на фронт забрали, меня при нашем сельсовете в почтальоны определили, по-тогдашнему — в письмоноscopy. Здоровье было никудышнее, но почтальонскую сумку таскать мог, они тогда совсем тощие, сумки-то, были. В зону моего обслуживания, как бы сейчас сказали, входили два села да семь колхозов, в окружности километров пятнадцать наберется. Сегодня в один колхоз, завтра в другой, так всю неделю и кружу. Когда на попутной подводе подъеду, но больше, понятное дело, пехом. Сапоги мне казенные выдали, да боялся прирвать по бездорожью. Снег только сойдет — босиком и зажариваешь. Ног, бывало, под собой не чуешь, как на копытах ступаешь, до того ооченеешь, а идешь. Потом я приспособился, ходить старался за коровьим стадом. Как пальцы начнет от холода скрючивать, заберусь в свежую коровью лепеху — они и отойдут. Вот таким макаром и скороходил с сумкой на горбу, с плеча-то сумка соскакивала.

Скороходы да марафонцы надобны для новостей добрых. Но немного радостей приносила военная почта, мало было добрых вестей в солдатских треугольниках. Хорошо, если «жив-здоров, воюю помаленьку, гоним немца». А чаще такие получали: «Пишу с госпиталя. Царапнуло малость. Руки-ноги целы. Доктор говорит, в рубашке родился». Опустится баба на лавку, ребятишки по углам забьются, да так и сидят. Думаешь, хоть бы без рева обошлось, без причитаний, успокаиваешь: «Все же хорошо, пишет, руки-ноги целые. Пишет, радоваться надо». А баба, словно окаменев, скажет безразлично: «В голову, наверное, угораздило... О голове-то ничего не прописал». С тем и уйдешь.

Но были письма и пострашнее — те самые казенные бумаги, которые похоронками прозвались. Похоронные извещения я словно через конверт видел. Как получу такой конверт, меня потряхивать начинает. Сейчас я полагаю, что извещения такие должен

вручать не малолетний письмоносец, а кто-то из сельского совета или военкомата. Но военкомат был от нашего села далеко, а председатель сельсовета в народе появляться не любил: в селе его грыжистым бугаем звали. Да и, надо сказать, сволочь был — не мужик. Тогда же налоги были на мясо, на молоко, на кожу, на картошку. И вот к тем, кто налог не вносил в срок, председатель самолично приезжал на лошади и вынимал в избенке печные заслонки да вьюшки, а то и двери с петель снимал. Потопи печь на ветер, померзни. И шли в безвьюшечные печи последние плетни. Понятно, каким почетом пользовался председатель. А похоронки приходилось разносить мне с обычной почтой.

Навидался я бабьих слез да причитаний... И сейчас плачущего человека видеть не могу — трясет. С того самого дня, как вручил я похоронку старику Бондаренко с хутора Красный боец.

Старик Бондаренко поселился на хуторе уже в войну. В наши места перебрался он откуда-то с Запада, избенку купил — они тогда дешево стоили. Людей он как-то сторонился, да и люди его побаивались: был старик громадного роста, с копной белых седых волос и с крестом на шее. В наших местах кресты даже древние старухи не носили, я по крайней мере не замечал, а этот с крестом. «Баптист какой-то», — предполагали, хотя кто такие баптисты, и ведать не ведали. Потому и отношение было к старику настороженное: живет себе на отшибе, ну и пусть живет. А кроме него на хуторе еще две семьи проживало, но кто проживал, я не упомяну сейчас.

Вот старику Бондаренко и предстояло доставить письмо, в котором я угадал похоронное извещение. До хутора было около десятка километров. Дорога туда петляла березняком среди огромных кучугуров, через старый заброшенный омшаник до крытой риги — признак довоенного колхозного изобилья. А там и рукой подать до хутора.

У своротка, где телефонная линия убегала от березняка, я делал первый привал на передышку. Усаживался у телефонного столба и, прижавшись ухом, вслушивался в монотонно тревожный гуд. В ветреную погоду столб гудел надсадно и безрадостно, и в этом гуде слышались мне страх и отчаяние, среди которых прорывались вдруг невнятное бормотание и стоны, рыдания

и вопли о помощи. Я все надеялся услышать однажды победные салюты, мне говорили, что по проводам они при сильном ветре доносятся, но салютов услышать не удавалось. Но о чем еще мог мечтать полуголодный, больной письмоносец с корочкой коровьего навоза на ногах?

В тот день гудело особенно печально и тревожно, словно предугадав недобрую весть, которую нес я в сумке для старика Бондаренко. И мне стало не по себе от жалости к этому одинокому хуторскому жителю, которого мы хотя и побаивались, но который ничего худого не сделал. Одно успокаивало: старик, а всё мужчина, уж он-то не станет биться в падучей, не станет голосить истошно, рвать на себе волосы, как старая Афанасьевна из колхоза «Красное поле». Его не придется отпаивать водой, как тетку Нюру Паутову, которая, как получила казенную бумагу, так замертво и упала. И нету у старика Бондаренко малых ребят, которые захлебнутся криком от первого же вопля взрослых.

Так успокаивал я себя, сворачивая на тропку, ведущую к заброшенному омшанику, откуда уже виднеется колхозная крытая рига.

У омшаника я привал не делал. Здесь в войну развелось множество змей огневок, прозванных так за свою красноватую кожу. Змеи эти имели способность скручиваться обручем, и так, обручем, быстро передвигаться. Правда, мне самому не доводилось встречаться со змеями огневками, но мимо омшаника я всегда проходил скорым шагом. Кусты здесь подступали к самой тропке, и сучья то кепчонку с головы сдернут, то за сумку ухватятся. Только в тот раз я бы с радостью оставил свою сумку со страшной вестью в центре змеиного гнезда.

Но рига уже виднелась. А скоро из-за поворота открылась и избенка Бондаренко. На крыльце сидел старик, плел из ивовых прутьев вершу для рыбы. За ригой начиналось озерцо, где водились караси и гольяны. Для них, видать, и готовилась снасть.

Мне хорошо запомнилась безмятежность хуторского полдня. У крыльца перебирала ножками коза с козленком, она пыталась дотянуться до ивового лакомства, но старик взмахивал прутом, и коза, а за ней козленок, отскакивали от крыльца. Тут же две дворняжки напали на козу, вынуждая ее обороняться. Собаки отходили, а коза снова тянулась к прутьям. Мне стало легче,

когда я все это рассмотрел, и подумалось, что ничего страшного не случится, если сразу вручу старику свою страшную почту.

Я вышел из кустов и, дворяжки, завидев меня, с лаем помчались навстречу. Старик цыкнул на них с крыльца и крикнул:

— Не бойсь! Они того... пустолаи!

И эти простые слова придали уверенности, что ничего страшного не произойдет: старик вовсе не выглядит немощным. И все же я медлил. Старался хоть на миг отодвинуть страшную для старика минуту. Не знаю, что чувствовал он в те мгновения, когда я копался в сумке, наверное, ничего не чувствовал.

— Да ты заходи в избу. Чего на земле-то стоишь. Прозяб, чай? — сказал старик.

Но я уже вытащил конверт. Увидел, как вздрогнула рука, протянутая за письмом. Я отвернулся и стал гладить одну из пустолаев — черную собачонку с белым ошейником, а она понарошку пыталась укусить меня за руку.

«Все ладно! Все обойдется!» — успокаивал я себя.

— А-а-а-а! — вдруг услышал я за своей спиной.

Вздрогнув, я обернулся. Старик сидел на ступеньке и, обхватив руками седую голову и раскачиваясь, тянул на одной ноте:

—А-а-а-а!

И от этого стоны у меня горб, я отчетливо чувствовал, стал увеличиваться в размерах, расти. Я задышался, удушье давило меня. Не помню, как нашлись силы вбежать в сени, зачерпнуть ковш воды.

— А-а-а-а! — все тянул старик, наводя ужас на безмолвный хутор, на видневшуюся вдалеке ригу, на обожженные траурные кусты, на собак-пустолаев. Я беспомощно совался с ковшом — этой жалкой подачкой для обезумевшего от горя старика. Я пытался напоить его, но он неожиданно выбросил руку, и ковш загрохотал по ступеням, разбрызгивая воду, скатился на землю, отпугнув козу, которая уже добралась до ивовых прутьев. И тогда нервы мои не выдержали.

— Молчи, старик! — закричал я. — Молчи, молчи, старик... Не у тебя одного. У Афанасьевны убили! У тети Нюры убили, с тремя маленькими осталась... В каждом доме горе, в каждой избе беда. Или не знаешь? Или бог твой ничего тебе не говорит?

Я с ненавистью смотрел на крест поверх белой рубахи.

— Нам выть да оплакивать некогда, будем выть, немец и сюда, до Сибири, припрет!

Так орал я на старика, и откуда только слова у гаденыша брались. Верно, страху натерпелся по самую макушку. Но вот ведь какое дело, подействовали мои слова на старика Бондаренко. Он разжал голову, глаза его были мутны, но сухи.

— Прости, сынок, — сказал. — Прости... Два раза не плакал... Это третья, последняя.

И я почувствовал, как у меня снова зашевелился горб на спине, стал увеличиваться в размерах. И я, боясь, что задохнусь и упаду здесь, у крыльца стариковой избенки, бросился бежать напрямик через кусты, через заброшенный омшаник и кучугуры. Больше я почту не разносил.

Ирина Ордынская

Родилась и выросла в Таганроге. Прозаик, драматург, сценарист, публицист. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор восьми книг прозы. Создатель и главный редактор журнала-библиотеки современной духовной литературы «Эхо Бога». Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Живет в Москве.



ГОРОД МИЛЛИОНА РОЗ

Пять женских монологов с линии огня

Монолог первый

Я хочу вам сказать, чтобы вы не смели ругать мой родной город. Не говорите о нем плохо. Вы же ничего о нем не знаете. Мне восемьдесят лет. Думаете, это много, и старушка ничего не понимает? Нет, все понимаю и помню.

Всю жизнь я прожила в единственном городе: родилась, училась в школе, окончила институт, вышла замуж, родила сына и дочь, дождалась внуков. Потом здесь похоронила мужа, а еще раньше родителей и сестру.

С детства для меня наш город самый красивый. У нас такие зеленые бульвары, каких нет нигде: Пушкина, Артёмма, Богдана Хмельницкого. В общем, их у нас много. Зелени столько — улицы в ней утопают. Но главное, первое, что рассказывали раньше гостям: у нас, в шахтерской столице, везде: на бульварах, улицах,

парках — растут розы! У нас же летом тепло — юг, такие кустищи вырастают, огромные.

Миллион жителей — миллион роз. Представьте, целый миллион розовых кустов! Хотя, наверное, представить трудно. Я даже стихи об этих розах писала. Да, иногда я сочиняю стихи. Ну не такие чтоб очень серьезные. Когда преподавала в горном техникуме — шахтеров учила, мы готовили горных мастеров, — писала стихи каждому коллеге ко дню рождения и для коллектива — к праздникам.

Не представляю, как люди переезжают из города в город. В родном месте все дорогое, знакомых пропасть, воспоминания разные. Маленькой папа часто водил меня в центральный парк Шевченко. Мороженое, карусели — ну вы знаете. Шли мы с ним по мосту длинному-длинному через речку, красота вокруг, у берега утки плавают. Он меня за руку крепко держит, а я и не думаю вырваться — с ним рядом идти хорошо, я как взрослая.

Папа у меня такой необыкновенный был, все умел, дом сам построил и даже на пианино сам научился играть. Мне жаль, что не могу сейчас мамину, сестры, мужа могилы посетить. Наверное, там холмики позаросли травой, и оградки некрашенные стоят.

Хотела навестить дорогих моих покойников на Пасху, убраться там да поплакать, пожаловаться им, но не смогла. Не пускают туда. И правильно, там кладбище простреливается, и растяжки, с гранатами такие, ставит кто-то. Мне это объяснили ребята, которые оцепили в праздник кладбище. Они не пускают туда никого, чтоб не пострадали люди. Там, бывало, приедут кого-то хоронить да сами и погибнут. Пришлось мне домой вернуться, а я краску купила, кисточки, пирожки испекла.

Я раньше в церковь не ходила, а сейчас, когда никого родных в городе не осталось, помолюсь, постою на службе, и будто не одна.

У меня сын давно в Москве живет, по работе в молодости перебрался. Там внучка растет. А дочь, как обстрелы начались, в Киев с мужем и сыном уехали. В машину вещи погрузили, какие смогли, и поехали. Ну и я с ними.

Мне восемьдесят лет, жить на квартире у чужих людей — ох как несладко. Не привыкнуть мне уже к чужому месту, не то, что в родном городе, где кругом все знакомое. Через два месяца вернулась домой. Какая мне разница, где умирать и от чего? Мне восемьдесят лет.

Две подруги здесь у меня остались, тоже вдовы. В театр, на концерты ходим, вы не думайте, что если комендантский час, значит, не ходим никуда. И праздники вместе отмечаем. Собираемся у меня, квартира у меня хорошая, двухкомнатная, перед самой войной дети ремонт сделали. Дети и сейчас помогают, деньги, посылки передают. Это одиноким плохо. Соседка у нас есть, совсем одна, так голодала бы, если б люди не помогали. А есть и такие, что голодают.

Думаете, вот какая молодец — ничего не боится. Нет, мне страшно бывает. Еще как. Хорошо, если сразу убьет. А если покалечит? Знаете, как громыхает иногда... Кошмар.

Конечно, боюсь. Когда из дома выхожу, так на соседний дом смотреть боюсь. Там дыра. Дом девятиэтажный, обычный панельный, а в середине второго подъезда дыра — снаряд пробил. А вокруг в соседних квартирах люди живут.

Знаете, мои родители родом с Полтавы, переехали после Отечественной войны, я украинка. Под Полтавой у меня тетки были, умерли уже, а сестры-братья двоюродные остались. Мы раньше туда часто ездили летом, молочка парного попить, а какой хлеб домашний тетки пекли в печке на больших капустных листьях, какие борщи варили. Я вот чувствую, только не подумайте, дорогие, что из ума выжила, ну не должно в меня попасть то, что оттуда, с родной Украины, прилетает и убивает. Не может такого случиться. Бог не попустит!

Начинает бахать, а я давай молиться. И вдруг кажется, что со мной и все мои детки и внучки в опасности. Ничего не могу с собой поделывать, не о себе прошу Бога, а их имена повторяю. Защиты им прошу. Каждый день думаю о своих детях, в сердце они у меня. А его надвое не поделишь. Люблю своих детей.

Никуда я не уеду, в родном городе хочу умереть. Мне восемьдесят лет. Жизнь прожита. Да и где на земле есть еще такой город с миллионом роз?

Монолог второй

Нам очень нужны деньги. Очень-очень. Для себя я бы не попросила и копейки. Но студенты мне как родные. Им учиться нужно. У них вся жизнь впереди. Как же они останутся без образования, без дипломов? Не должны мы их так подвести.

Я всю жизнь в институте английскую филологию преподаю, мне шестьдесят лет, на пенсии, но как студентов бросишь. У меня семьи нет, детей нет. Институт — вся моя жизнь.

Сначала хотя бы два учебных корпуса нужно отремонтировать, чтобы занятия начались. Вы же не знаете, что такое прифронтовой город, как в нем трудно жить. В нашем институте ни одного целого стекла ни в корпусах учебных, ни в общежитиях не осталось. А скоро осень.

У нас в институте бомбоубежище хорошее, в нем не только студенты и преподаватели во время обстрелов укрывались, а и горожане прятались. Люди спаслись, а здания как от снарядов сохранить?

Нам очень деньги нужны. Мы просили всех друзей института. Только не подумайте, что мы сами ничего не делаем. Все преподаватели написали заявления на бесплатные отпуска, на этом институт сэкономил 700 тысяч. На эти средства мы начали ремонт. Но этих денег мало. Нужно восстановить: актовый зал, спортивный зал, крышу над библиотекой, деканат факультета английского языка, кафедры педагогики, практики и фонетики английского языка, романских языков, лекционные аудитории первого и второго корпусов. И общежития восстанавливать придется.

Нам бы окна до октября вставить. Нужно две с половиной тысячи квадратных метров стекол. Помогите нам! Сами не справимся. Я ведь не для себя клянчу эти проклятые деньги. Для себя никогда бы не стала просить. Хотя у меня в квартире, сама живу в Горловке рядом с институтом, нет ни одного стекла, и даже рамы вылетели. Но так у многих в городе. Фронт рядом. Обстрелы были страшные.

Студенты помогли — пока пленку натянули в оконных проемах, ничего, живу. Вы не подумайте, мне не нужно помогать. Вы детям помогите, у нас замечательные ребята, сейчас они завалы разбирают, стекла битые убирают, мусор из зданий выносят.

У нас ведь выдающийся, превосходный институт. Институт иностранных языков в Горловке вся страна знала. Мы суперспециалистов выпускали. Переводчиков высочайшего класса. Обмен студентами был со всей Европой. Нас весь мир знает. Еще в 1949 году наш институт открылся. Научную работу и сейчас ведем.

Друзья стараются нам помочь, благотворительные вечера устраивали во многих городах, где нет войны, поэты стихи читали, музыканты выступали. Мне кажется, что и в вашем городе такой концерт был. Да? Жаль, что в итоге собрали мало денег. Билеты на вечер люди покупали. А вот в ящики для помощи почти ничего не бросали.

Иногда я думаю, как же так, люди слышат, знают, какое у нас тут горе — война. Много говорят умных вещей о прошедших войнах, так правильно рассуждают. Но у нас эта беда происходит теперь, в эту минуту. Это в нашей Горловке погибли восемьдесят детей, не много лет назад — недавно. Неужели вам нас совсем не жалко? Ни капельки? Почему?

Деньги мы все равно соберем. И сделаем остекление. И будем учить наших детей. Никогда не думала, что оконные стекла такая ценность. Без них не сохранить тепло, не провести занятия. Это свет. Но какие они хрупкие. Засвистит снаряд, взорвется с диким грохотом, будто душа из тебя вылетает, вмиг уши закладывает, земля вокруг гудит, трясется. Вот от нежных стекол только осколки и остаются.

Мне очень неловко просить, но поделитесь с нами деньгами, пожалуйста! Не жалейте, соберите хотя бы по сто рублей. Главное в жизни человечества — это подрастающее поколение. Так ведь считается? Очень мне жаль выпускников, они столько лет учились, в дипломах их будущее.

Сто рублей — это немного. Правда?

Монолог третий

Как же я люблю соленые помидоры. Ничего вкуснее на свете нет. Бывало, каждый год заставляла полный шкаф на кухне трехлитровыми банками с помидорами. У меня рецепт свой, особенный, делаю их в томате с укропчиком, перцем, сельдереем.

Помидоры получаются бесподобно вкусные: в меру кисленькие и немного сладкие, чуть остренькие. Хороши! Мы с подружкой могли вместе сразу целую банку съесть.

Но теперь подружка далеко, еще до войны уехала жить в Россию. Повезло. Она замужем. Муж их с дочерью и увез. Мне сорок пять, мужа никогда не было. Когда поняла, что уже ничего не светит, родила себе дочку. Теперь хотя бы она у меня есть.

Мы жили с подружкой по соседству в новом районе. Чудесный был у нас район на окраине Донецка — лесок, пруд, луга. Воздух чистый. В центре города, где металлургический комбинат или рядом терриконы, воздух не всегда хороший, да и пыльно. А у нас красота. Особенно когда дочь моя Машенька маленькой была, как же я радовалась. Для прогулок с детишками район идеальный. У нас с подружкой дети одногодки, на детской площадке мы с ней и познакомились.

Я так радовалась, когда переехала сюда из Мариуполя. Квартирка у меня здесь небольшая, однокомнатная, но своя. Донецк — областной центр, он мне сразу понравился — ухоженный, чистый, снабжался хорошо. А уж какой красивый. Миллион роз! Наш новый район с аккуратными домами, весь в клумбах с розами, бутоны крупные — красные, белые, желтые. У кого поднялась рука его обстреливать? Что же это за человек такой? Зачем в такую красоту стрелять?

Я бы уехала, кому охота на линии огня жить. Но не к кому ехать, некуда. У меня родных не осталось. Мама недавно умерла от рака, а отца много лет как похоронили. Совсем мы с Машей одни на свете. Дочь в школу пошла, я фармацевт, в аптеке работала, как-то выживали.

Когда обстрелы начались, у кого машины были, те в первые дни уехали. Хорошо, если родственники где-то есть, к ним отправились. А мы с оставшимися соседями от снарядов в подвале ЖЭКа прятались. Собрались женщины, дети, старики. Мужики семьи постарались увезти. А у кого машин нет, мужей нет, тот и остался. Сидели почти все время в темноте. Готовили на плитке туристической. Вместе выжить легче.

Как в квартире жить без света, воды, газа? Да еще на моем седьмом этаже. Пока с ведром воды поднимаешься, на каждой лестничной площадке отдыхаешь. Хорошо, пруд недалеко. Для питья

воду купишь, но ее не хватает, а посуду помыть, себя и ребенка искупать, вот пруд и пригодился.

В подвале жить оказалось легче, чем в квартире. Во-первых, в подвале безопаснее, и не так страшно, да и с людьми проще с домашней работой справиться: кто-то воды принес, другой еду готовит, третий детей помыл, так коммуной и выжили. Свет, газ, вода почти сразу в районе пропали, от первых обстрелов сгорели подстанции, газораспределительные станции. Мы думаем, их специально обстреливали.

Первое время войдешь в свой подъезд — там вонь такая, жуть. Как обстрелы начались, люди самое ценное похватили и уехали. А из холодильников некогда было продукты выбрасывать. Как подстанция сгорела, стали у уехавших соседей пропадать продукты в холодильниках. Свой-то я вычистила...

В подвале, пока обстрелов нет, ничего, сносно, жить можно. Принесли матрасы, столики небольшие, стулья, даже пару кресел, посуды натащили. Но как стрелять начинают, страх такой, боишься, как животное. Если рядом взрыв, прям кричать от страха хочется, а нельзя — дети рядом. Дочь в меня вцепится, аж пальчики у нее белые, плачет, дрожит. А я глажу ее и успокаиваю словами ласковыми. Приговариваю: «Не бойся». А сама боюсь, аж зубы стучат. А маленькие детки пугаются прямо до истерики. Пищат. Рыдают. Матери успокоить не могут. Малыш трех лет у нас там был, как взрыв — писался от страха. Горько так плакал, мать трусики и колготки ему меняет, а сама тоже плачет. Старухи были две — те молитвы читали, а как взрыв, так в два голоса воют: «Господи! За что?!»

После обстрела страшно из подвала наверх выходить. Думаешь, а вдруг в твой дом попали. Какой-никакой, а свой угол единственный. Там вещи все, фотографии, одежда — как этого лишиться, остаться бездомным? Иду из подвала на улицу, а сама думаю — только б не мой дом. Пожалуйста, не мой.

Однажды взорвалось прямо рядом с моим подъездом, воронка глубокая. Я в подъезд зашла, поднимаюсь по лестнице, смотрю: стекла на лестничной площадке валяются — окна по-вылетали. Поднялась к себе на седьмой этаж, квартиру ключом открываю, а самой страшно — что там за дверь? Ключом в за-

мок не могу попасть, руки дрожат. В коридоре и гостиной ничего, все в порядке оказалось, а на кухне стекло треснуло на несколько крупных кусков, но они не выпали, а торчали острыми краями в сторону комнаты. Потом я их осторожно поправила и заклеила трещины лейкопластырем.

А вот помидоры мои любимые погибли. В шкафу все банки до одной разбились. Смотрю, сок красный томатный сочится из-под дверцы шкафа. Распахнула дверцу: осколки стеклянных банок как посыпятся с полка, и красный томатный сок ручьем полился! Лужа на полкухни растеклась. Я оцепенела — стою, смотрю на нее. И так мне жалко мои помидоры, слезы из глаз ручьем сами полились. С продуктами и так плохо стало, а тут столько закрутки пропало. Да еще помидоры...

Осколки острые выбираю из лужи, а сама рыдаю. Мысли страшные в голову лезут, вот так попадет снаряд в подвал, и мы с дочей вдребезги. Много ли нам с ней надо? Бах! И нет нас.... Убрала на кухне по-быстрому и бегом к Машеньке в подвал.

Повезло нам. Живы. Я ведь тогда не знала, как много людей в те дни погибли. С девочкой вместе работали в аптеке, дочь ее, восемь лет всего, во дворе дома играла, снарядом накрыло, погибла. У знакомой муж телефон в машине забыл, побежал за-брать и вместе с машиной сгорел.

У нас теперь так — никто своего завтра не знает...

Монолог четвертый

За собой нужно следить, какие бы времена не были. Уход за лицом каждый день — это обязательно! А уж косметика для женщины вообще нужна непременно. Короче, ухоженная женщина всегда привлекательна. Мне сорок лет. А все думают, что тридцать. Я слежу за собой, потому всегда нравилась мужчинам. И не только мужу.

Муж меня очень любит, так меня добивался, так красиво ухаживал. И сейчас балует, на руках носит. Бывает, что и поругаемся, но не часто. Очень я жалела до войны, что детей у нас нет, а сейчас думаю, это хорошо. Под обстрелами с детишками несладко.

Живем мы с мужем в частном доме, хотя и в областном городе. Место очень удобное — это несколько кварталов малоэтажной застройки между Донецком и Макеевкой. В доме все удобства, и газ давно провели. Ванную комнату сделали большую, каких в квартирах не бывает. Недавно террасу пристроили к дому. Теперь на улице летом ужинаем или с гостями сидим. Вокруг террасы виноград посадили — Изабеллу и Лидию. Осенью кушаем виноград, и даже вино свое делаем. В частном доме жить удобно. У меня сад, не только яблоки, груши, черешня, сливы, даже персики есть. Не крупные персики, но сладкие.

Когда блокада началась, и обстреливать стали, цены подскочили. Особенно на продукты. А нам хоть бы что. Вы не подумайте, я не белоручка, у меня огород — засмотришься! У нас все свое — огурцы, помидоры, кабачки, перец, капуста, зелень любая, все на грядках есть. Да что там, мы даже кур и уток завели. При таких ценах в войну, когда своя еда есть, намного легче жить.

По образованию я химик, в НИИ работала, в отделе скукотища — одни бабы. Только кому сейчас химики нужны? НИИ прикрыли. Да и вообще в городе с работой плохо стало. Заводы и шахты позакрывали. А как без зарплаты прожить? Муж меня устроил работать завхозом в одну контору. Ничего, я быстро привыкла, дело нехитрое. Начальство попало понимающее, если сильный обстрел, разрешают даже несколько дней не приходиться.

Мы с мужем подвал оборудовали. Прямо роскошно там все сделали, со спальными местами. Очень люблю, чтобы все красиво было, чтоб занавески с рюшечками, статуэтки, коврики. У меня по всему дому отменный порядок.

Первое время, как снаряд рванет недалеко, так мы пулей в подвал. А потом начали привыкать. Если стреляют изредка, надоедает сидеть в подполье без дела. Конечно, нужно быть осторожным. Бывает и неожиданно прилетают снаряды. И захочешь — не успеешь спрятаться в подвале. Главное, быстро подальше отбежать от окон, осколки очень опасные.

Сейчас скажу главное, а вы на всякий случай запомните. Самое надежное место во время обстрела — это дверь в несущей стене в глубине дома. Становишься в дверном проеме, или можно присесть. Замираешь и ждешь. Важно дожидаться, пока обстрел

не закончится, не нужно думать, что прилетело несколько снарядов и все. Тут самое опасное – запаниковать, если метаться начнешь, из дома выбежишь, от любого взрыва по соседству может осколок достать. Сиди тихо в дверном проеме, жди, пока тишина установится. Так безопаснее всего. На себе много раз проверено...

Первый раз, когда улицу нашу обстреливали, видели бы вы, как мы с мужем паниковали. Взрывы недалеко гремят, а мы по дому бегаем, вещи хватаем и документы. Я психую, ору не своим голосом. А как рядом взрыв бухнул, мы с мужем из дома выскочили во двор. И тут снова недалеко взрыв. Мы бегом за ворота.

У нас улица дружная, соседи хорошие, все друг друга знают. Смотрим, соседи тоже повыбежали из домов, мечутся. Многие плачут, бегают туда-сюда, не знают, что делать, куда детей прятать. Тут у всех на глазах в один из домов, Наташки-соседки, через два от нашего, снаряд попадает. Бах! Дом горит. Люди орут, что тушить пожар надо. Кто-то за ведрами побежал. А куда там тушить — дом сгорел, как спичка. Огонь из окон, крыша с грохотом обвалилась. Отошли подальше — жар от него пышет. Наташа так в одном халате на улице и осталась. Она даже не заплакала, как мертвая была. Ее бабушка одинокая, другая соседка, к себе забрала.

На следующий день рано утром улица опустела, соседи бегом загрузили машины, попрыгали в них и разъехались кто куда. У кого дети, те все уехали. Только в нескольких домах люди остались.

На какое-то время стихли обстрелы, мы успокоились. Они постреляют — обычно ночью — мы в подвале переночуем, а с утра работа, домашние дела. Так, бывает, устанешь, что только редкие выстрелы тебя и разбудят. И вдруг, не знаю, что там у них случилось, только в одну из ночей бить стали прицельно по нашей улице, кучно — один снаряд за другим. В подвале все гудит, трясется, и тут мы с мужем дрогнули... Выбежали на улицу, а там не описать, что творится. Восемь домов, как свечки пылают. В огне что-то стреляет, искры сыпятся, и куски чего-то вылетают из пламени. Не дай Бог такое увидеть! Восемь костров, жарко нестерпимо, хоть осень и я в одной пижаме и ботах на босу ногу.

Соседний дом догорает, у него крыша обвалилась. Соседний дом от нашего далеко, но смотрим, а угол нашего дома начал дымиться. Хорошо, мы у сарая бассейн небольшой выкопали,

до войны летом в нем купались, а теперь утки в нем плавают. Быстро хватаем ведра и давай водой стену нашего дома, ту, что рядом с соседским участком, поливать. Два часа с ведрами бежали. Потушили. Спасли дом.

Никто не погиб, в пустые дома снаряды попали, повезло. Гарью долго тянуло со всех сторон, пока снег не выпал, а может, мы к ней со временем привыкли. У нас теперь половина стен дома закопченные.

Соседи наши, которые теперь живут неизвестно где, наверное, мечтают вернуться. Надоели, наверное, родственникам. Вспоминают свои дома. Скучают. А не знают, что их дома уже давно сгорели. Теперь им здесь жить негде, некуда возвращаться, здесь у них только пепелище осталось. Не сообщишь им никак. А может, не нужно им ничего знать....

Иногда я думаю, ну как же так могло случиться? Можно ли было сделать так, чтобы осталось все по-старому, был мир? Или это уже было невозможно. Ведь долго молчали. Терпели. Школы русские закрывали, русский язык запрещали — в институтах, на радио, телевидении, в документах, а все молчали. На соседней улице школа была, русская. 1 сентября, праздник, дети в красивой одежде, родственников полный двор. Дети поют, танцуют, директор всех поздравляет. На фасаде плакат: «Добро пожаловать!» И тут трое взбираются на сцену, вырывают у директора из рук микрофон. Требуют убрать плакат на русском языке. Дескать, плакат по закону может быть только на государственном языке. И все, кто стояли во дворе, промолчали. Никто этим троим не дал отпора. Полный двор людей, но никто не ответил. Дали этим троим сорвать плакат. Молчуны. Думаете, эта история перед войной была? Нет! В 97-м году. Дотерпелись.

Устала очень. Эта война кого хочешь изматывает. Усталость такая накопилась, что сил никаких нет. Так я обычно веселая, хорошие компании люблю. Раньше каждые выходные, когда тепло, шашлык во дворе с друзьями, после полуночи расходились. А тут начали нервы сдавать, выхожу из себя без повода, кричу на мужа, он тоже не смолчит, ругаемся. Решил он меня в гости к родственникам в Белоруссию отправить. Говорит, отдохнешь, выпишься в тишине, купишь себе что-нибудь новое из одежды.

Меня родственники от всей души принимали, старались порадовать. Хоть к ним оказалось трудно попасть, ехала долго — через блокпосты украинские, где очереди дикие, обыски. Пока пропуск для проезда оформили, столько натерпелись, что несколько раз думала плюнуть на эту поездку. Но она того стоила. Тишина, покой, драники, грибы, сало домашнее, баня. Думала, вот оно счастье, отдохну от войны. Родственники так трогательно меня жалели, старались все желания выполнять.

У них в городе собрался фестиваль, большой праздник. На улицах людей тьма. Я платье новое надела, туфли на шпильке, прическа классная — перья такие светлые на голове, в парикмахерской мастер уговорила сделать, отлично получилось. Маникюр, педикюр. Вышли мы на площадь, на сцене поют, люди вокруг кричат, радуются, а я сознание теряю от страха. У меня паника. Боюсь. Не могу выбросить из головы, что когда людей много — опасно. Ноги подкашиваются, задыхаюсь. Прошу их: давайте домой пойдём! Быстрее домой! А они не понимают, что со мной... Мороженое предлагают, потанцевать. Праздник, а я не могу расслабиться, хочется спрятаться. Где много людей, туда могут стрелять.

Думала, что отдохну от войны. А в конце уже и по улицам боялась ходить. Вроде бы и понимаю все, а боюсь...

Монолог пятый

Мой муж — человек потрясающий, настоящий мужик, таких в наше время поискать. Я намного моложе, мне всего тридцать три года, рано замуж выскочила. А у него это был второй брак.

Мы из поселка — пригород Донецка. Считаю, деревенские жители. Крепкое хозяйство у нас было: корова, поросята, куры, гуси, индюки. Яйца продавали. Огород 20 соток. Сад. Все свое. У мужа руки золотые, любой транспорт мог починить. Лучший автомеханик в округе. У него своя автомастерская была. Люди в очередь записывались.

Жили мы душа в душу, никогда не сорились. Он спокойный, из себя не выйдет. Все проблемы на себя возьмет. А если я злиться начинаю, он так все повернет, что своей уверенностью

успокоит, и не замечу, как забуду, что меня расстроило. Настоящий мужик. За таким замужем — как за стеной.

А уж к детям он со всей душой. И приласкает, и понянчит, если надо, поможет и покормит. Дочке старшей Катюше всегда с математикой помогал. Как бы занят не был, а для детей время найдет. Такого отца поискать.

Перед войной у нас уже двое детей было. Дочери Кате десять лет и сыночку Захарчику два годика. Малыш веселый, шустрый такой, не поймашь, говорить начинал. Смешной. Доченькой Катей мы гордились. Она у нас круглая отличница, лучшая в классе, в лицее училась, иностранные языки изучала, пела, танцевала, умненькая, послушная, и в воскресной школе в церкви занималась. Необыкновенный ребенок.

Для нас война началась в июне четырнадцатого года. В пять утра мы с мужем проснулись от того, что над домом низко-низко кружил самолет. Долго летал, над всем поселком, мы сначала не поняли, что ему надо, почему не улетает, а потом вдруг он две бомбы сбросил, в километрах двух от нашего дома. Не могу описать, как нам стало страшно. Сначала мы растерялись, испугались, не знали, что делать. А потом одежду, вещи в машину побросали, схватили документы, деньги — все ценное, детей прямо спящих на сидение положили, дом закрыли. И уехали в Крым.

Комнату сняли, муж неделю с нами пожил. Долго думал, что делать дальше. Дома ведь хозяйство. Мы когда уехали, родные стали за животными смотреть. А дальше что? Работы в Крыму нет, денег с собой немного. Кому мы нужны?

Мы ведь ничего в политике не понимаем. Нам телевизор смотреть некогда. Хозяйство, дети, муж с утра до вечера на работе. Мне приготовить на всех, убрать, постирать. Когда в Киеве что-то началось, мы подумали, что очередная оранжевая смута. Решили, что помитингуют и успокоятся. Ни на какие демонстрации и голосования не ходили, у нас времени не хватало.

В общем, муж нас в Крыму оставил, а сам домой вернулся. Закрутился один, бедный, — работа, домашнее хозяйство, огород. Я в Крыму с детьми еще четыре месяца жила. А потом выяснилось, что я беременная. Значит, сама работать в ближайшее время не смогу. Деньги стали заканчиваться, а у меня двое детей

на руках и один внутри. На что в Крыму жить? Да и там неспокойно, с водой и светом проблемы.

Посоветовались мы с мужем, и решили, что нужно мне с детьми тоже возвращаться. Будем все вместе. И муж истосковался. Приехал, забрал нас. Когда первые соглашения в Минске подписали, мы прямо воспряли духом, надеялись, что война уже позади. Оно, и правда, первые два месяца все тихо было. Катенька снова в школу ходила. Мы радовались! Все вокруг радовались...

А потом совсем плохо стало. Постоянные обстрелы начались. Детям в лицее выдали бейджики с именами, чтобы в случае чего можно было их тела опознать. Только дочь в школу отвезем — звонят, обстрел — забирайте детей. Ночью тоже постоянные обстрелы. Зима пришла, а у нас своего погреба нет, к соседям бегали в их подвал прятаться. Ночь, темнотища, холод, сонных детей одеваешь и тащишь через огород по снегу к соседям. Всю зиму дети у меня болели — из теплой кровати да на морозную улицу. Сразу сопли, бронхит. А я-то беременная. Всю беременность по подвалам.

Как обстрел, так от взрывной волны то форточку в доме вынесет, то деревья осколками посечет, а однажды люстра упала. Когда лето наступило, как-то легче стало. Тепло. Зелень первая пошла. Огород посадили. Цыплят купили. Тут время пришло мне рожать. Девочку родила. Хорошенькую, крохотную, счастье такое. Так время и пошло: эти стреляют, а мы живем.

Катюша в школе на отлично год окончила. У нее летние каникулы начинались. На одиннадцатилетие мы с мужем ей планшет подавали. Она так радовалась. Прямо влюбилась в планшет, не оторвать.

Я тот день помню ярко, будто вчера был. С утра мы с мужем в огороде возились, поливали грядки. Я цыплят в клетках на улицу вынесла — проветрится. Маленький Захарчик у клеток крутился, все пытался цыплят потрогать. Катя где-то в доме с планшетом играла, она его просто из рук не выпускала. Маленькая заснула после кормления. С утра над поселком, беспилотник кружил. Низко так. Высматривал что-то. Почти час летал. Я на телефоне в группе посмотрела — у нас в поселке есть специальная группа в интернете, чтоб друг друга предупреждать, если опасность, — но никто ничего плохого не написал. Вроде, тихо было в округе.

А потом неожиданно и прямо рядом с нашим домом начали падать снаряды. Бах! Бах!! Бах!!! Муж сына схватил и в дом с ним забежал. А я клетки с цыплятами сгребла и тоже в дом с ними понеслась. В тот момент, как я в прихожую вбежала, в дом влетел снаряд. Как муж успел.... Каким-то чудом смог вытолкнуть меня на улицу перед самым взрывом. Меня вытолкнул, а его завалило.

На какое-то время я потеряла сознание. Очнулась от крика сына. Кричит мой Захарчик где-то под завалами. А я сразу не могла выбраться из-под железной входной двери. Кое-как выкарабкалась, в голове гудит. Иду на голос сыночка, посмотрела влево, а там муж мертвый лежит без рук, без ног, одно туловище, кругом кровь. А сынок Захарчик хрипит, захлебывается, задыхается где-то под слоем кирпичей и штукатурки. Я вся в крови, но боли не чувствую, только понимаю, что одной рукой обломки разгребая. Главная мысль стучит в голове — сынок может под завалом задохнуться, нужно спешить. Боли не чувствую, только на левую руку вскользь посмотрела, а она оторвана — на коже висит. Кругом вещи валяются, все пыльное. Колготками сына руку перевязала, как смогла, одной рукой, и дальше копаю.

Достала сына. А он плачет, глаза открыть не может, оказалось, ему роговицу обожгло. Вижу, что он кричит, а слышу его голос глухо. Потом сказали, у меня в левом ухе барабанная перепонка повредилась. Обнимаю малыша, а у него на спинке кровь — осколок его зацепил. А тут прилетел еще один снаряд, за холодильником взорвался. Я упала, сына собой прикрыла. Вскоре соседи прибежали, я им Захарчика отдала, а сама в комнату побежала к кровати, где маленькую оставила. А кровать тоже завалило. Сердце бьется, из груди выскакивает — что с малышкой?! Тогда крохе всего две недели было. Откопала, смотрю, жива, только личико и ручки все посечены, порезаны. Отдала ее соседке. Потом к Кате в комнату метнулась. А она в коридоре на пороге лежит... половина тела... разорвало ее. Я сейчас, простите... Не могу говорить, отдышусь... Не могу... Кажется, слезы все уже давно выплакала. Вспомню тот день — сердце останавливается. Такая девочка необыкновенная была, солнышко наше...

Когда обстрел закончился, приехала «скорая», меня с двумя детьми отправили в больницу. Оказалось, что у меня множественные переломы, а левую руку сразу ампутировали.

На похороны мужа и дочери меня привезли в инвалидной коляске. Мне так хотелось с ними проститься, последний раз посмотреть на них. На их лица. Хотя бы на секунду увидеть. Но обоих хоронили в закрытых гробах. Не разрешили открывать.

Вы поймите меня, я не могу там больше жить. Я не железная. Люблю свой поселок и наш Донецк, нашу шахтерскую столицу — город миллиона роз. Приезжаю иногда на родину. В День победы, 9 мая, шла по Донецку с другими матерями в Бессмертном полку, но мы несем не портреты ветеранов, а фотографии наших погибших детей, я — Кати.

Мне очень трудно вылечить сына, Захарчику инвалидность поставили, зрение у него восстановилось, но он до сих пор заикается, плачет и кричит по ночам. Диагноз «аутизм» ему ставят, как последствие шока и контузии. Я больше никогда в наши края жить не вернусь. Не могу. Это выше моих сил. Я без руки. Инвалид. А мне двух детей нужно вырастить. Я операционная медсестра, восемь лет в больнице городской работала. С одной рукой какой из меня медик? Как мне теперь детей кормить?

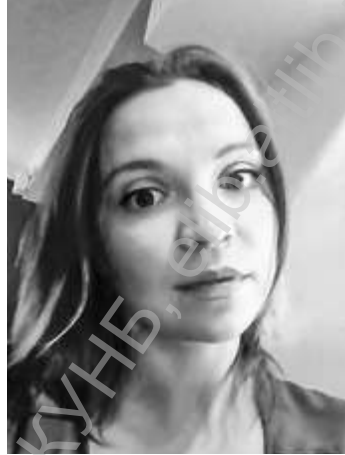
Думаете, я только вам рассказываю о себе? Нет. Выступаю везде, где соглашаются слушать. Рву себе душу. Но должны же люди почувствовать, что этот ужас нужно остановить. Я хочу понять: кто-то может эту войну прекратить? Неужели всем безразлично, что вот так, как моя Катя, дети гибнут? Как же так, мы же люди...

Теперь моя левая рука — это протез. Хороший. Очень дорогой. Сейчас лучше протезов не делают, чудо западной техники. Итальянцы подарили. И поставили его бесплатно. Отличный протез, нервные импульсы чувствует, почти как настоящая рука.

Я у них в Европе много раз выступала в разных странах. В организациях всяких. Они меня внимательно слушают. В залах гробовая тишина. Кроме своей истории я им ничего не рассказываю. Катю вспоминаю, мужа... Иногда фотографии им наши семейные показываю. И любимую фотографию Кати — в школьной форме с белыми бантами и букетом цветов.

Александра Вайс

Родилась в 1989 году.
Окончила факультет искусств АлтГУ по специальности «культурология». Публиковалась в журналах и альманахах «Ликбез», «Барнаул литературный», «День и ночь», «Огни Кузбасса». Автор трех поэтических сборников. Член Союза российских писателей. Живет в Барнауле.



Экстремальная кухня

А кто-то живёт, не меняя лица,
Его подставляя и солнцу, и слову.
А мне бы из образа вырваться,
И к новому образу кинуться снова.
Не знаю, зачем *остаются* в друзьях
И в дамках, и в мамках, и в их сыновьях.
Почаще пишите, делитесь — я стол,
Что выпустил ветви, а позже зацвёл.
И если не смыслом, то верой в других
Заполните ящичков зевы пустых.
Их много, в них стонет порой пустота
И требует очередного листа.
Нескоро, но чувствую, голод пройдёт,
И места не станет для краткого слова,
Столешницу времени скроет налёт,
Но ветви сойдут на листья для другого.

Так странно дети учатся писать
на письмах к папе.
Осваивают с той же целью телефон.
В системе этой
я — вкладыватель в ручки
ручек,
фломастеров,
цветных карандашей.
Ватсапа я счастливый установщик.
Я контролер печатных малышей,
хотя во мне нуждаются всё реже.
Мне тоже остро нужен диалог,
но стало меньше слов
и мыслей, чтоб делиться,
и собственных цветных карандашей.
Была уже готова горевать —
пришла история,
эмоция,
проблема...
Потом я отыскала кошелёк.
А значит, мне придётся повторяться —
и что не получается уснуть
и то, что просыпаться нет желанья.

доченька не отходи возьми за ручку
я боюсь тебя потерять
не вырывайся не убегай
посмотри в глаза
ну же покажи маме глазки
вот так спасибо
доченька возьми маму за ручку
я без тебя всегда теряюсь
боюсь.

Барнаул

В столице всех оскорблённых опять зима.
Транспорт стоит, метель замела пути.
Тот, кто пытался ещё не сойти с ума,
Домой не добрался и вынужден был сойти.

Тот, кто был дома — ошибки не совершал,
Не отходил от компа, телик не выключал.
Решал судьбы мира, не стоящие гроша.
Зарплаты. Потраченной, кстати, в начале начал.

Ещё есть дети. Детям зелёный свет.
Их холят-лелеют, не разрешают бить.
Главное, подключить 4G интернет,
Вытереть попу и можно пока забыть.

Теперь о высоком. О всеобщем Отце.
Красный угол выбелен, чист и пуст.
В глянцеви́то-стеклянном привычно пустом ТЦ
Салон православных подарков не оскорбляет
чувств.

Всех накроет одной волной,
если вовремя не сорваться,
И затопит картонный мир
наших стареньких декораций.
Собирайся, скорей, бежим!
Можно что-то спасти по ходу...
Только как перестать смотреть
в подступившую воду?

Ветер сменился — пугает, воеет,
Рамой стучится в ночь.
Я призываю своих героев
Страшное превозмочь.
Но откликаются единицы —
Те не смогли, а те,
Что согласились соединиться
Только без «при», — не те!
Видно, сегодня мне жениться
С бурей одной своей.
Я, без желания оправдаться,
Выйду навстречу к ней.
По боку мили и километры,
Если постигнуть суть —
Выпростать руки, поддаться ветру
И отправляться в путь.

Что-то пошло не так в самом начале,
Кто-то не выучил роли, не сдал урок.
В землю царевну спящую богатыри закопали,
Видимо, не хватило им на хрустальный гроб.

Гадкий утёнок так и остался гадким —
Селезень выше других, теперь он не спустит обид.
И у Дюймовочки в жизни, в общем-то, всё гладко —
С радостью вышла за жабу, в тине речной сидит.

Тут-то и надо жирную точку ставить,
И от себя ничего, так, поцелуй в лоб.
Я посмотрю на детей, и точно кто заставит
Досочинить принца, наврать про хрустальный гроб.

1

Ты замерзаешь в +15,
А здесь тепло и при нуле.
Сибиряком легко назваться,
Укутавшись в столичный плед.
Здесь глубина сибирских руд
И мелких слов равновеликость,
И вместо «ну» всё чаще «гуд» —
Ты помнишь, « Азия-с» и «дикость»=).
Я то воюю, то терплю
Её отмашки и замашки —
«Щу» в дневнике у первоклашки
Учитель пишет с буквой «ю».
Здесь женихи под коньячок,
И *тоневетер* разгулялся,
Наказ ложиться на бочок
К стене, чтоб и волчок забрался...
Но это частность, это малость —
Другой и не произнесёт.
А там, где лампочка сломалась,
Я поместила звёздный свод.
Здесь ВСЕМ НА МЕСТЕ HÄNDE NOCH
И постовые сосны-ели,
Но знает каждый местный бог,
Лишь здесь умеют ждать и верить.

2

Теперь о фарсе и сатире —
Мой несложившийся супруг
В столицу изгнан из Сибири
(Где даже бабы не дают).
Не разволнуется френдлента —
Все понимают, что не лгу.
Но вот женою диссидента
Я вслед за ним не побегу.

Я здесь в своём уютном гетто
От пуза ем и вдоволь сплю.
И, принимая пошлость эту,
Её смакую, не терплю.
В кредит набрав на зиму вещи,
Шепчу прощальное «прости»,
Ведь славы худшей среди женщин
Мне там, увы, не обрести.
А здесь скользим на старом жире,
Здесь пишем — строить не дают...
В столицу
изгнан
из Сибири.
Ну что добавить можно тут?

3

Вышел месяц из тумана,
Вынул ножик 1, 2, 3.
Первый глух, второй обманут,
Третий — прямо посмотри.
Это гори-гори ясно,
Это светят фонари
Там, на лестнице опасной.
Тихо-тихо говори
Всем, кого оклеветали,
Тем, кому грозят судом,
Что и не такое знали,
Как-то выжили притом.
Рот закрой, а то простынешь,
Будет горлышко болеть —
Так нас учат и поныне,
Будут так учить и впредь.
Намотай-ка шарф повыше,
Чтобы не было беды.
Тише, мыши, кот на крыше,
А где снег, там и следы.

Чужая квартира

Здесь было когда-то весело и тепло,
Здесь было и сладко, и стыдно, здесь много было.
Внутри закипало и пело, взлетала плоть,
И даже смерть нелепая не страшила.

Сегодня бардак, и в комнате можно курить,
Внезапных визитов непрошенных не бояться...
А мне тяжело. Мне так тяжело здесь быть,
Но ты не поймешь, ты потребуешь задержаться.

Ты скажешь, что после меня лишь голая степь,
Сожженное поле, горы пустых брошюрок...
Мне жутко: как просто желанное расхотеть.
И я уйду. И я не тушу окурок.

Он мучительно ждёт признания,
Поощрения, может быть,
И прикладывает старания,
И оправдывает ожидания,
Непрерывно готов заранее,
И всегда проявляет прыть.
Я смешлива, но это зря я —
Этот точно других порвёт:
Ни лица, ни ларца не теряя,
Марафонец бежит вперёд.
Только вот на пути колдобины,
А на финише ждёт насест...
Милый, ты для меня особенный.
ТЫ ОСОБЕННЫЙ!
Как и все.

фонарь,
нарисованный на стене,
хорош лишь днём.

у этих — разводят мосты,
у тех — замедляет дороги.
никто никуда не едет,
никто ничего не ждёт
от ночи,
от боли до Бога.

Послелетнее на выдохе

что мне до солнца... намоленный... гелий?
что мне до твоих превращений!
до перемещений вперёд-назад,
выше-ниже,
делай, что хочешь. я, безусловно, за.
что говорить — слова комом в горле встали, но
ведь раньше я говорила как правильно,
теперь узнала, как правильно — и молчу.
можно допрыгнуть, можно пройти по твоему лучу,
но не обнять,
а всё, что нельзя обнять —
не для меня.
экстремальная кухня,
колёса,
мосты,
оконца —
в этом мире огромное множество способов
выключить солнце.

Владимир Левченко

Родился в 1958 году на Алтае.
Окончил филологический факультет
Алтайского государственного
университета.
Печатался в журналах «Аврора»,
«Алтай».
Живет в Барнауле.

**ЧАСИКИ НА БОЖНИЧКЕ**

Людочка очень любила выходные. Могут сказать: «Ха! Умная нашлась! Кто же не любит, когда на работу идти не надо?!» Так в семь лет на работу никто и не ходит. А Людочке тогда как раз седьмой годик шел. Далеко, правда, еще до дня рождения — половинку лета подождать и потом еще до снега. Но девочка уверенно говорила всем, что ей семь и скоро в школу.

«Ну, почти же уже», — думала про себя.

В садик она тоже не ходила, потому что была ребенком деревенским и домашним. И опекала ее своей любовью, не меньшей, чем весь большой мир, бабушка-бабуля. Присядет бабушка у печки от забот отдохнуть, положит руки на колени. Внучка уткнется личиком в ее теплые ладони, а они счастьем пахнут. И нет сразу ни пыльных громяющих машин на дороге рядом с домом, ни грозы над огородом. Так и плыла Людочка день за днем в лодочке из бабушкиных ладоней.

Но все другие дни никак не могли сравниться с любимыми субботой и воскресеньем, потому что в выходные вместе

с бабулей дома были папочка и мамочка. И счастье становилось совершенно полным. В воскресный день в комнате почему-то всегда светлее. Даже если облака в окошках, все равно светлее, чем в простые дни. Светило солнышко у Людочки — прямо во все сердечко. Домашние дела вокруг происходили. Они такие хорошие, как зерна в спелом початке — одно к одному, и все на радость. Папа стребал с кровати подушки, одеяла, перины и выносил на улицу. Там усердно дубасил их палкой-выбивалкой, а потом раскладывал по всей ограде прожариться на солнцепеке и пообдуться теплым ветерком. А мама мыла полы. Вымоет половину комнаты, застелет чистыми дорожками и говорит Людочке: «Прыгай, доча, на сухое». Люда с диванчика, на котором пережидала, — прыг на дорожки, как зайчонок с островка на островок во время половодья. И весело им с мамой от этого.

И блины в выходные у бабули какие-то особенные получались. Как обычно, вроде бы, пекла и маслом тем же щедро смазывала, а они особенные выходили — улыбочивые. Смотрели на людей и улыбались лоснящимися круглыми личиками.

Венец всему — баня. Вот дар-то божий! И сколько в ней чудес разных происходило — только удивляться.

— Готова баня, — говорил папа и первым уходил париться. Через час возвращался с красным лицом и простыней на плечах. Пил из большущей кружки бабушкин холодный квас, который срывает крышки с банок, и приговаривал: «Ох, и пар! Ох, и пар! Уши в трубочку сворачивает!» И Людочка с тревогой рассматривала, как же это у папы ушки трубочками стали. Неправильные какие-то чудеса. Но потом успокаивалась, потому что видела перед собой очень даже плоские уши, а вовсе никакие не трубочки.

Жар наполовину спадал, и наступала мамина очередь париться. И тут уж чудо точно было налицо.

— Ух, лечу! — широко распахивала мама руки после бани. — Десять лет скинула!

— Мамочка, ты у меня самая-самая молодая! — хлопала Людочка в ладошки. — Самая-самая красивая!

Когда же баня остывала до теплого, шли пускать в тазу с водой желтого резинового утенка бабушка с внучкой. Нахлюпаются, на-

моются — тогда уже все дома в сборе. И происходило в этот момент самое главное чудесное банное превращение.

— Личико-то как сияет, — любовалась мама дочкой, — как пуговичка золотая.

Потом сидели они за столом рядышком. В тишине, в домашних белых рубахах, чистые и светлые.

Ночь неслышно ступала по околице. Людочка терла кулачками глазки.

— Спать пора, — раздольно потягивался папа, — кончились выходные.

На одной стене — окно, на другой — окно. А между ними в светлом углу божничка висит. Не высоко, не низко, чтобы рукой удобно было дотянуться. Это ящичек такой плоский с застекленной дверцей. Вещь старая, из потемневшего дерева. За стеклом внутри окладом по краю разноцветные бумажные цветы для украшения. А по центру на задней стенке — икона семейная, наследственная, что от матери к дочери всегда переходила. На иконе Бог. Выставил перед собой два сложенных пальца и смотрит на всех внимательно.

— Бог все видит, — говорила бабуля. — Вот обманешь кого, и живешь посла дурнем, думаешь себе, что не узнат никто. А про тебя уж давно все ведомо.

В нижний край божнички были вбиты два гвоздика. На них Людины папа и мама вешали свои наручные часы — цепляли за ободок застешки на ремешке. Вечером повесят, утром снимут.

Во времена Людочкиного детства наручные часы ценились и имелись не у каждого. Это сейчас их разных полно. Хоть дорогу ими выкладывай, на тысячу километров хватит. А тогда — что ты! Если часы подарят кому, так это очень дорогой был подарок.

Папа часы маме подарил, когда Людочка родилась. Себе раньше, еще до свадьбы, с первой полочки купил. А маму за дочку часиками отблагодарил. Маленькие они совсем, с белым циферблатиком и серенькими стрелочками. Простенькие, но такие маме дорогие.

Так и висели рядышком родительские часы на божничке.

А однажды у маминых часиков стекло отвалилось. Отпало где-то на ходу и потерялось. Мама до слез расстроилась.

— Эх-х, — вздохнул папа. — Ладно, пусть повисят. Потом в городе в ремонте новое поставим.

В город дороги все не было и не было. Мама каждый день заводила часики и оставляла на гвоздике. Шло на них время потихонечку.

К Людочке в гости братец двоюродный приехал, Сережка. Мальчишка городской, сбитый, задиристый, упрямый. Ему было пять лет, и с девочками он не водился. И вообще, это он не сам приехал, а его родители в деревню сослали. Сестренку только и удостоил тем, что посопел перед ней молча носом, да и убежал на улицу. Быстренько перезнакомился с деревенскими пацанами и заливался играть на целый день.

— Фу, задавака, — надулась Людочка, — ну, и не надо. Подумаешь!

И продолжила заниматься своими делами. Она делами занималась, а простые дни шли так медленно! Такими длинными были, как, наверное, их улица, которая тянулась через всю деревню. И до выходных еще — ждать и ждать.

— Бабуля, какой сегодня день?

— Середка, Людочка, середка.

— О-ох, — вздыхала девочка, — нескоро до них.

Походила Люда, походила, посмотрела на мамины часики, и вдруг ее осенило: «Время же по часикам идет. Как стрелочки двигаются, так и время идет. Если я их быстро покручу, то и время быстро убежит, а выходные близко станут».

Бабушка ушла в огород сорняки дергать, Людочка одна осталась. Посмотрела еще немножко на мамины часики и решила. Подтащила под божничку табурет, забралась на него и дотянулась до часиков. Вот они и в руках. И сразу стало страшно — совсем они маленькие, а по ним все-все время большое идет. Что же там внутри спрятано, раз они такие сильные? Тайна...

«Прокручу стрелочки один кружочек, — думала Люда, — и сразу завтра настанет. И всего один денечек до выходных будет».

Присела на табурете на корточки, осторожно пальчик к стрелочкам поднесла. И прокрутила кружок. По сторонам посмотре-

ла, в окно глянула — как будто бы и не поменялось ничего. То ли сегодня это, то ли завтра уже. Непонятно...

«Надо, наверное, еще кружочек прокрутить. Тогда уже точно понятно будет, что завтра наступило...»

Снова поднесла пальчик к часикам. Но только чуть двинула им, а одна стрелочка на пальчике и осталась, прилипла.

— О-охх... — обомлела девочка от страха.

«Скорее...скорее надо стрелочку назад прилепить...» Ткнула пальчиком со стрелочкой в циферблат, а она, наоборот, — отлепилась и вниз полетела. И попала как раз в щель между двумя досками.

Все! В комнате потемнело, табурет вместе с полом закачался под Людочкой. Время в подпол упало!

«Может, время светится под полом... — лихорадочно соображала перепуганная Люда, — и я увижу его там... И как-нибудь достану...»

Она быстренько повесила часики на гвоздик, слезла с табурета и на пол легла. Подставила глазик близко-близко к щели между досками, а оттуда на нее черная темнота уставилась, и затхлостью дохнуло.

Тут щеколда в сенях стукнула. Едва Людочка успела на ножки встать, как бабуля уже в комнату вошла и затащила за собой за руку Сережку. Братец упирался, исподлобья смотрел. Одна нога у него в крови вся.

— Ты погляди на него! — ругалась бабушка. — Я с огорода иду, а он в калитку ковыляет, сорванец непутевый. Ну-ка, Люда, пусти нас, на тубаретку его усадим.

Внучка сразу в сторонку отшагнула и совсем уже растерялась от всего.

— Ой, матынька моя! — рассмотрела рану на коленке внука бабуля. — Угробил ногу! Где ж глазоньки твои были, что ты саданулся так?! Ладно, сиди, терпи...

Она хорошенько вымыла Сережину пораненную ногу. Взяла «зеленку» и так густо назеленила ему коленку, что ребятишкам стало ясно — это никогда не отмоется.

— Все, — закончила бабушка лечение, — на улицу ни шагу с такой ногой! Дома сиди. Вон, у сестренки учишь, какая она прилежница, и не хулиганит, как ты.

Сережка после этих слов еще больше надулся, а Людочка глаза спрятала, в пол уставилась.

Больше уже до конца дня ничего не случилось. Бабушка с огорода вернулась, потом родители с работы. Поужинали, и до ночи уж недалеко. И никто ничего не заметил.

А утречком-то все и началось. Мама, как всегда, сняла часики с гвоздика — завести да повесить снова. Посмотрела на циферблат — вот те на! — стрелочка одна всего.

— Это что ж такое? — в недоумении остановилась мама. — А вторая-то стрелка куда делась?

— Чего там у тебя? — подошел папа.

— Так вот... стрелка одна почему-то...

— Да что ж ты?! Говорил же, не носи без стекла!

— А я и не носила вовсе.

— Ай, ну тебя! Ухайдокала часы! — с досадой махнул он рукой и отправился на работу. «Надо стрелку тоже в ремонте сделать», — подумал про себя.

— Сдается, тут еще кое-кого спросить надобно, — сказала бабушка. — Ну-ка, голубы мои, просыпайтесь, — направилась она сначала к кровати, на которой спал Сережка.

— Ой, ладно, на работу опаздываю, — снова повесила мама часики на гвоздик и убежала следом за папой.

— Вставай-ка, вставай-ка, вставай-ка, — тормошила бабуля внука, — на дворе светлым-светло.

Мальчишка упрямылся, недовольно бурчал, отталкивал ее руки. Новсежепроснулся. А Людочка давно не спала. Лежала тихо и слушала разговор взрослых. Ой, как ей было стыдно! И за то, что папа маму из-за нее ругал. И за то, что мама расстроится, когда все про нее узнает. Что она такая прилежная, а так могла сделать. Очень мама расстроится.

— Иди-ка и ты ко мне, — позвала ее бабушка. — Давайте, встаньте рядышком и в глаза мне смотрите. И сознавайтесь, кто вчера с божнички сымал. Ты брал? — заглянула в глаза Сережке.

— Не брал я ничего, — посмотрел тот в ответ круглыми зелеными глазами и насупился.

— Правду мне говори!

— Не нужны мне ваши часы! — повернулся он боком. — Я домой хочу!

А Людочка глазки поднять не могла, смотрела и смотрела на дорожку под ногами. Щечки у нее красными сделались, как спелые помидорки. Бабушка заметила.

— А ты не брала, внучка? — спросила.

И Люда в ответ чуть-чуть, едва заметно, отрицательно повела головой. Словно не сама она, а кто-то невидимый без разрешения немножко покачал ее голову.

— Ну, коли так, отстану от вас, — прищурила глаза бабуля, — дальше бегайте-гуляйте. Но ежели у нас тут кто обманом решил заняться, пущай знает, что часики-то мамкины, вон, на божничке висят. И Бог ее время, как вожжи, в руках держит. За вранье чужое будет он у мамы время забирать, а взамен напускать хвори разные. Ну, гуляйте теперь.

Серезка и правда скоро на улицу убежал, а Людочка места себе не находила. На лавочку присядет — плохо ей. На крыльцо выйдет — обратно в дом зайти хочется. С кошкой их ласковой решила поиграть, но та вдруг коготки показала и ушла от нее по своим делам. Даже кукла любимая весь день никак не убаюкивалась и почему-то плакала и плакала.

А вечером ни бабушка, ни мама, ни папа — никто про часики ни слова.

«Неужели, они забыли? — с замирающим сердечком ждала Люда, что сейчас ее снова спросят про стрелочку. — Почему же они не спрашивают? Обязательно признаюсь во всем, чтобы Бог у мамочки время не забирал. Подожду еще немного... до завтра всего подожду и обязательно все расскажу».

Наступило завтра. И это уже была пятница.

«Вот, и так один денечек до выходных остался,— продолжала переживать Людочка. — Если бы я стрелочки не крутила, то и время бы в подпол не упало, а просто бы быстренько прошло. А Серезка все по улице бегаёт, и зеленка у него на коленке уже стерлась. Конечно! Ему же не надо признаваться, что он сломал часики. И мама его не расстроится, оттого что он плохой, а не хороший».

У Люды было славное место для прогулок. Под их огородом зеленели просторные полянки с ее любимыми цветочками. А за

полянками бежала тоже любимая речка-невеличка Марушка. Так там хорошо гулялось, что и не надо места лучше.

«Пойду сейчас под огороды, — решила Людочка, — нарву красивых цветочков. Подарю моей любимой мамочке и расскажу все».

Пришла на полянки, а цветочки словно и не рады ей. Васильки синие носики наморщили, отвернулись. Колокольчики бутончики сжали, молчат. А ромашки-подружки вообще подевались куда-то. И здесь все плохо — покатались слезки по щечкам.

Подошла к Марушке. Течет вода в реченьке, неглубокая, быстрая. А напротив их огорода под тальником тонким омуток воду крутит. Папа остерегал всегда: «Сюда не лезь, глубина здесь, ямка». Посмотрела Люда на омут, а у него глаза круглые, зеленые, как у братца Сережки. Хмуρο глядит, насупись.

— Омучок мой хороший, — совсем расплакалась девочка, — не смотри на меня такими ругливыми глазками. Я всю правду мамочке расскажу. Подожду еще немножко, а завтра всю правду расскажу. И Бог перестанет у мамочки время забирать.

И отправилась домой, всхлипывая, без цветочков. По дороге почувствовала, что морозец колючий по ней бегаёт. Раз пробежал, да другой, а потом перестал. Зато очень жарко стало.

Вернулась. По ограде походила, в комнате куклу понянчила. Папа с работы вернулся, из подполья банку с квасом достал.

— Ух, резкий! — выпил целую большую кружку. — Холодненький! Чего такая невеселая, дочка? Пятница сегодня! Завтра твои любимые выходные настанут. Погоди, щас я к соседям схожу быстренько и вернусь. Поиграем с тобой.

Ушел. И мамы еще с работы нет. И бабушка в огороде где-то. А Людочке совсем уже жарко-прежарко.

«Когда папе после бани жарко, — сообразила она, — он же квасом остывает. Надо и мне квасу попить».

Папа крышку неплотно закрыл. Люда уселась на табурет, открыла банку, наклонила и принялась через край квас пить. А он холодный, даже зубки заломило.

«Надо побольше выпить, чтобы сильнее остыть, — и глотала, глотала, пока горлышко не замерзло. — Все, теперь хватит».

Тут бабушка вошла.

— Ты чего ж краснучая вся? — сразу спросила и положила

внучке на лоб ладонь. — Эх ты, да к тебе жар пристал. Ну-ка, быстро в постель, раздевайся.

Сама давай покрывало с кровати снимать и подушки поправлять с одеялом. Потом банку с квасом на столе увидела открытую.

— Это ты что же, квас холодный дула?

— Я чтобы остыть, бабуля.

— Ох-ох, додумалась... и я ротозейка...

И все. Будто бы это не пятница пришла, а сразу понедельник наступил. Бабушка с хмурым лицом какую-то траву заваривает. Мама с работы вернулась — за голову схватилась. Папа за банку с квасом нагоняй получил.

Дали Людочке горькую таблетку, напоили каким-то горьким чаем, и она уснула. Проспала всю ночь, а утром оказалось, что и горлышко у нее заболело. Словно ей картошинка круглая, которую в костре испекли, прямо горячая дальше язычка закатилась и жжет сильно. Голосок охрип, а жар так еще сильнее стал.

Папа на мотоцикле тетеньку врача привез. Она Люду послушала, горлышко посмотрела и сказала: «Ангина». Выписала рецепты, разъяснила, как лечить, и папа увез ее обратно.

Вокруг Людочки все хлопочут, делают, что врач прописал. Даже Сережка подошел, протянул шоколадную конфету и буркнул: «На». Только ей вовсе не хотелось конфет. И от блинов бы бабулиных тоже отказалась, если бы она их напекла. Но никто ничего и не пек. Все ходили с грустными лицами. И в доме светлее не стало, чем в простые дни. Отменились ее любимые выходные.

К вечеру голосок у Люды еще больше охрип, а жар только чуть отступил.

«А вдруг я совсем говорить перестану... — думала она, когда дело подходило к ночи. — Ой, а вдруг умру потом... Вдруг завтра я уже не смогу мамочке правду рассказать, и Бог у нее все время заберет...»

— Мама, — позвала Людочка тихо и хрипленько. И зажмурилась.

— Что, моя хорошая? — тут же подошла мама.

— Я хочу тебе правду рассказать, про часики, — сказала, а сама глазки от стыда открыть не может.

— Ну, так и скажи, если хочешь, — погладила мама дочку по потемневшим от пота волосикам и присела на край кровати.

— Это я стрелочку сломала, а не Сережка, — выдохнула и замерла. Только сердечко бегом тук-тук-тук...

— Да ты девочка моя, — покачала головой и чуть сама не расплакалась мама, — томилась столько. И призналась бы сразу. Боялась?

— Я сначала боялась, что ты расстроишься, что я плохая у тебя, а не хорошая. А потом еще забоялась, что сначала обманула.

— Все-все-все, не надо больше бояться. Все плохое уберем, все плохое отведем. А ты у меня самая-самая хорошая.

— Мамочка, а Бог больше не будет у тебя время забирать за мой обман?

— Время забирать? Да что ты?! Мне за такую золотую доченьку Бог больше добавит времени, чем забрал. А папа новые стрелочки потом на часах сделает. И голосок у тебя скоро-скоро звонче прежнего станет. Послушай-ка, я тебе песенку спою.

И запела тихо:

Дон-дон-тили-дон,
За окошком бродит сон.
К нам скорее заходи,
Люду сладко усыпи.
Скоро ноченька пройдёт,
Красно солнышко взойдёт.
Сад весенний расцветёт,
Вольна пташка запоёт...

И снились Людочке мамины часики с новыми стрелочками на божничке. И папины рядышком. А еще приснилось, как улыбаются ей любимые цветочки на полянках под огородами, на берегу речки-невелички Марушки.

Павел Корнеев

Родился в 1982 году в городе Междуреченске Кемеровской области. Окончил филологический факультет и аспирантуру Алтайского государственного университета. С 2008 по 2016 гг. доцент кафедры русского языка в Московском гуманитарно-экономическом университете и преподаватель в Московском институте Психоанализа. С 2016 года преподает русский язык и литературу в школе.



БАБАРАН

— **Б**абаран, — торжественно произнес Глеб, протягивая Егору коробку из-под электрического чайника.
— Что? — не понял Егор. — Какой еще баран?

— Бабаран, бабаран, — Глеб постучал по коробке ладошкой.

— А, барабан, — догадался Егор, — не надо мне.

— Бабаран, — не отставал Глеб и пытался вручить Егору коробку.

Егор был старше Глеба на четыре года, учился в первом классе — уж в его жизни есть вещи посерьезнее какого-то бабарана. Он взял коробку и отбросил ее в сторону.

Глеб посмотрел на свой барабан, на Егора, повернулся и выбежал из комнаты. Весь день они не общались: Егор конструировал из бумаги город с многоэтажными домами, дорогами и фонтаном, Глеб в другой комнате играл с мамой в свою чудесную кухню со шкафчиками, холодильничком и микроволновкой.

А вечером после ужина приехали бабушка с дедушкой и увезли Глеба на дачу. У Егора впереди был еще месяц учебы, поэтому ему пришлось остаться в городе. И хотя уроками заниматься он

не очень любил, перспектива целый месяц жить одному в комнате, делать что хочешь и не подыгрывать младшему брату в его глупых играх привела Егора в восторг. Он посмотрел на свои изобретения, расставленные на полках, подвешенные на стенах, разбросанные на полу, под столом, за диваном, и ощутил, как внутри от осознания свободы разливается счастье. Егор был изобретателем. Он создавал невообразимые вещи из всего, что попадалось под руку. Здесь находились роботы, космические корабли, морские чудовища, сделанные из полосок бумаги, свернутых гармошкой; башни с окнами-пуговицами и фонарями из ватных палочек; открытки с движущимися персонажами и пластилиновые армии гоблинов в полном обмундировании. Но главной страстью Егора было создавать различные вспомогательные приборы. Над столом, например, он соорудил тетрадеручкоподавательную машину, которая, хотя и не работала так, как было задумано, поражала сложностью своей конструкции, являя собой настоящее театральное представление веревочек, ленточек, проволочек, резинок, бумажных полосок, каждую из которых Егор приводил в действие, чтобы в конце концов с подставки на стене выпадала висевшая там тетрадь с прикрепленной к ней ручкой. Зрелище было завораживающим и напрочь отменяло все сомнения в эффективности данной конструкции.

Егор осмотрел свои владения и, предвкушая чудесный вечер без глебострофических помех, начал продумывать модель супербота.

— Эти два стула будут ногами, их можно связать моим покрывалом, а по бокам добавлю руки со встроенными лазерами — подойдет веник и швабра. И голова — вот и коробка, будет голова-чайник! Глеб просто с ума сойдет, когда увидит такое чудовище!

Егор, держа в руках коробку, выбежал в коридор, чтобы посмотреть, что делает Глеб и не войдет ли он раньше времени, но тут вспомнил, что Глеба увезли на дачу на целый месяц. Егор замер, потом посмотрел на коробку и вспомнил их последний разговор. Еще ни разу с того момента, как Глеба привезли из роддома, они не расставались даже на одну ночь. Когда Глеб не умел ни ходить, ни говорить, он все равно был всегда рядом, смотрел, смеялся, впитывал и подражал. А уж последний год Глеб стал настоящим другом, товарищем. Они вместе строили крепости из простыней

и подушек, покоряли моря на перевернутых табуретках, представляя себя капитанами пиратских кораблей, устраивали акробатические шоу в гамаке. И главное, Глеб всегда был первым ценителем изобретений Егора. Сам того не осознавая, Егор, создавая свои конструкции, каждый раз представлял реакцию Глеба.

Ничего в этот вечер больше так и не получилось. Егор был тихим, пытался что-то лепить, смотрел мультики, но не вникал в сюжет. За ужином он расплакался и спать лег рано. А утром, проснувшись, долго лежал с открытыми глазами, уставившись в потолок. Время остановилось. Вставать не хотелось. Была суббота. Егор вспомнил, как всегда ждал субботы, потому что все в этот день были дома, вместе проводили суетливое утро, а затем обязательно куда-то отправлялись вместе. И Глеб при этом любил повторять свою скороговорку: «Мама, папа, Егор, Глеб — вместе!» Все смеялись. Им было хорошо. Теперь такого не будет...

И тут в дверь позвонили. Кто бы это мог быть так рано в субботу. В коридоре слышались голоса бабушки и дедушки. И Глеба! Да, это были они. Егор вскочил с кровати, рванул в коридор. И увидел раскрасневшееся, припухшее лицо брата.

— Ну, родители, — сказала, бодрясь, уставшая бабушка, — ночь, надо вам сказать, была у нас... второй такой я не выдержу: у меня давление. Вы уж простите, но придется вам самим как-то.

За чаем они рассказали, что на протяжении всей ночи каждый час Глеб садился в кровати и удивленно спрашивал: «А где Егор?» Потом, понимая, где они, ложился, закрывал глаза, а через пять минут снова садился и спокойно перечислял: «Мама, папа, Егор, Глеб — вместе. Почему без Глеба?» Глаза наливались слезами, но он не плакал. И от этого становилось жутко. Он ложился, засыпал, а через час снова садился в кровати и начинал перечислять и рассуждать. Утром, проснувшись, бабушка обнаружила, что Глеба нет в кровати. Она выбежала из спальни и чуть не натолкнулась на сидевшего на полу в коридоре Глеба. Он ничего не делал, просто сидел, смотрел своими красными, опухшими за ночь глазами и повторял одно слово «бабаран».

— И что это за слово такое? — возмутилась, рассказывая, бабушка.

Егор не выдержал и, рыдая, бросился к Глебу.

ДАЛЕКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Терпение заканчивалось. Мама сидела на табурете у порога, смотрела на разбросанные вокруг вещи, детей, прыгающих вокруг, и в очередной раз ломала голову над тем, как бы вывести их на прогулку.

— Мотри, как я могу, — Глеб вставал в позу и выдавал очередной артистический жест, жадно питаясь маминым вниманием. Это были его минуты славы. Теперь-то она никуда не денется, теперь она будет внимательно слушать и восхищенно смотреть, потому что знает: стоит только отвлечься, и он начнет все заново, и тогда до финала они так и не доберутся. Глеб был поистине артистичен в эти минуты, он умел себя подать, тонко донести эмоцию. И не его беда в том, что у занятых взрослых, все время куда-то спешащих и опаздывающих, не хватало терпения в сто первый раз смотреть один и тот же номер. Глеб оттачивал жест — а без зрителей правдоподобия не добиться.

Егор скакал рядом, радостно вскрикивал, озвучивая пантомимы Глеба, затем добегал до конца коридора и оттуда, представляя себя конькобежцем, скользил в носках по каменному полу до мамы, размахивая над головой, как дубиной, Глебкиным вальском. Мама была раздражена на обоих.

— Егор, надевай штаны! Ты на них стоишь. Глеб, подойди ко мне, мы идем на улицу. Егор... Глеб... — уже в течение получаса твердила она одно и то же, понимая бесполезность своих слов. Надо было срочно что-то придумать.

— А знаете, куда мы пойдём?! — вдруг заговорщически произнесла мама.

— Куда? — мальчишки замерли. Обычно после этой фразы предлагалось что-то интересное.

— Мы пойдём...

Мама еще не придумала, чем бы таким завлечь детей, поэтому быстро прокручивала в голове возможные варианты. Конечно, скажи мама, что они поедут в аквапарк купаться или в батутный центр, или, к примеру, в цирк, дети тут же бы собрались и еще подгоняли бы ее, но машина находилась в ремонте, а на общественном транспорте с пересадками добираться долго, не успеть до дневного

сна Глеба. Детей нужно было вывести на свежий воздух, вопрос — куда? Гулять они любили, однако тонко чувствовали своей детской душой разницу между площадкой, на которую ходили почти каждый день, и каким-нибудь далеким путешествием, обещающим таинственные приключения и новые, неизведанные впечатления.

— Мы поедem... на поезде к бабушке в Дмитров, — вырвалось у мамы.

Это был самый сумасшедший план из всех, что могла предложить мама. В доме у бабушки детям нравилось, но вот добираться туда — настоящее мучение: пешком до метро, на метро, затем два часа на поезде, а там на автобусе и снова пешком до дома бабушки. Нужны какие-то вещи, Глеб будет спать на руках, Егор устанет и начнет причитать, тащась где-нибудь в пяти метрах позади — мама представила весь этот ужас и поняла, что совершила глупость. Но дети услышали заветное слово — жребий брошен. Егор побежал собирать игрушки, Глеб, декламируя недавно выученный стишок «Скок, скок на лошадке, У меня звезда на шапке...», полез одеваться на колени к маме. Делать нечего — слово надо держать.

Она быстро одела Глеба, собрала вещи, которые могли бы понадобиться в таком непростом путешествии, и через двадцать минут они втроем вышли на улицу.

Весь двор, дорога, площадка были покрыты толстым слоем пушистого выпавшего ночью снега. Раскрасневшиеся и счастливые, дети бегали по площадке, перебрасываясь снежками, прячась за валунами — остатками двух развалившихся снеговиков, прыгая в большие сугробы. Никуда в этот день они не поехали. Им было хорошо вот так играть во дворе вместе. Но иногда понять близкое счастье можно, только запланировав далекое путешествие.

ХОРОШЕЕ ПИТАНИЕ

Сегодня утром у Егора случилось озарение: он посмотрел рекламу и понял, откуда взялись в нем его сила, ловкость и ум. Из маминого живота! «Полезные вещества, — услышал он, — формируют кровеносную и нервную системы, кости,

еще много-много всего и, главное, мозг ребенка!» Все факты его жизни совершенно укладывались в эту гипотезу! Он был безусловно сильным — мог поднять почти все, невероятно ловким и цепким и еще все время что-то изобретал — а это, конечно, признак большого ума!

Обдумав все детально, он побежал к маме поделиться своим открытием.

— Спасибо, мама, что ты хорошо питалась, пока я был у тебя в животе, — выложил Егор.

— Что-что? Спасибо за то, что я хорошо ела? — засмеялась от неожиданной благодарности мама, потом озадачилась:

— Егор, откуда у тебя такие мысли? Ты почему вообще об этом думаешь?

— Не знаю, просто я так подумал, давно-давно, сегодня, — с восприятием времени у Егора была беда. Он собрался было уже рассказать маме, как давным-давно, а именно полчаса назад, он посмотрел рекламу и...

Но вдруг совершенно иная мысль пронзила его сознание: а если мама питалась плохо, когда он был у нее в животе. Если ей не хватало витаминов или она ела что-нибудь неправильное, бесполезное, то ведь все это непременно отразилось и на нем. И с учебой у него не ладится, и пешком он ходить не любит, и еще этот кашель уже третий день. Картина ужасного будущего представилась ему: больной, никому не нужный, с прогрессирующей слабостью мозга и тела. А вот ведь что стоило просто нормально питаться?! Эх, мама, мама. Что же теперь делать?

— Что с тобой, сынок? — прилетел откуда-то издали голос мамы. — Егор, ты чего молчишь? О чем задумался? — мама с тревогой смотрела на него, но потом, догадавшись, что его могло так взволновать, сказала:

— Конечно, хорошо питалась, сынок. Ела за двоих!

У Егора будто камень с души упал. Он рванулся и обнял крепко маму:

— Спасибо, мама!

Как важны, оказывается, некоторые факты для счастья. Ему хотелось как можно крепче прижаться к своей ответственной и заботливой (теперь уж он не сомневался в этом) маме. И он

стоял, уткнувшись в мамин живот. Конечно, мама пока не понимала, что с ним случилось и, наверное, даже переживала за него, но это ничего, она все поймет. Ведь тогда же поняла. Значит, все поймет и теперь.

ОПЯТЬ ТЫ

Глеб встал в театральную позу, подбоченясь левой рукой, а правую приставив лодочкой ко лбу, на манер капитана корабля, всматривающегося вдаль. Придал своему лицу выражение торжественности и сосредоточенности, а затем, едва заметно повернув голову, тихо произнес: «Опять ты» — и, довольный произведенным эффектом, упал, заливаясь смехом, на диван. Это была цитата из мультика, который они вместе с мамой смотрели накануне. Глеб искусно исполнял роль мальчика, раздосадованного очередным неожиданным появлением надоевшей ему девчонки. Впоследствии героям суждено было пройти множество испытаний и стать близкими, верными друзьями, но сейчас девочка его раздражала.

Зрителем была мама. Она должна была сидеть в кресле напротив, смотреть представление, аплодировать и кричать: «Браво!» Глеб кланялся, а затем говорил: «Давай еще» — и начинал все заново. Потом еще и еще. Мама не уставала смотреть, не уставала аплодировать и кричать «браво». Как мягко, по-доброму звучала сейчас эта фраза. Совсем не так, как тогда, ребенком, произносила ее она. Ей тогда было пять лет.

«Катя, — маленькая фигура бабушки в теплом пальто не по погоде, с палкой в руках двигалась по двору, — где ты, Катя?» На лице бабушки трудно было прочесть хоть какую-либо эмоцию, как это часто случается у старых людей. Голос ее был хоть и не слабым, но старческим, нараспев. Катя пряталась на чердаке соседнего дома, смотрела на идущую внизу бабушку и ждала маму. В глубине души Катя понимала, что бабушка ее очень любит, но сама она любила маму. Хотела, чтобы рядом была молодая, красивая, веселая мама, а не эта скучная

старуха. Катя все видела и все понимала. Понимала, что бабушка не виновата в том, что постарела, не виновата, что не может так заразительно смеяться или, например, сорваться вдруг и организовать всем выезд на пикник или на речку, или в загородную усадьбу какого-нибудь художника. Это могла сделать только мама.

Но мама бывала дома редко. По будням она работала допоздна, приходила всегда затемно, а выходные часто проводила с друзьями, оставляя дочку на попечение бабушки.

Катя понимала даже, что именно бабушка день за днем отдает ей все свое время, именно бабушка каждую минуту думает о своем ангелочке — не голодна ли, тепло ли одета и не поранилась ли на улице. Не понимала Катя тогда только одного: почему она должна проводить свое время с бабушкой с ее вставной челюстью и стареньким пальто, а не с мамой, у которой были красивые руки и кольцо с рубинчиком. Тогда и родилась эта фраза. Как-то раз она сказала бабушке со всей своей детской злобой: «Опять ты!..» Потом через несколько дней снова сказала — так и повелось. Это была месть, месть за маму, за разлуку, за долгие дни и темные вечера, за молчание и одиночество, за израненную душу и утерянную красоту. Бабушка никогда не обижалась.

А потом бабушки не стало. Кате к тому времени было уже семь лет, и ее стали оставлять дома одну.

«Мама, мама, — Глеб пытался своими маленькими ручонками повернуть лицо мамы к себе, — смотри, как я могу». В очередной раз он встал в позу и произнес свою эффектную фразу. И что-то сломалось внутри: не было больше мамы, не было этих трех десятилетий, а была маленькая девочка, которая мечтала только обо одном — увидеть ее, бабушку, сказать ей, что она так раскаивается, что вот теперь она все-все знает и что ей совершенно не важно то, что казалось таким значимым тогда. А потом она прижмется к теплым морщинистым ладоням и будет ждать, зажав дыхание, когда донесутся до нее спокойные надежные слова: «Это опять я, Катя».

«Прости, прости меня, сынок, — шептала мама, обнимая растерявшегося Глеба и прислушиваясь к растворяющемуся вдали голосу бабушки, — я с тобой, я здесь, это опять я».

Сергей Комаров

Родился в 1958 году. Живет и работает в Тюмени, профессор Тюменского государственного университета.

Член Союза журналистов РФ.

Автор нескольких поэтических книг:

«Дефис» (2005), «Изречие» (2015),

«Медленнее» (2016), «Братия» (2018).

Печатался в «Литературной России»,

в альманахе «Врата Сибири»,

в антологии «Слово о матери» и др.



Мы не хотим мальчика,
мы не хотим девочку,
нам просто хорошо вдвоём.
А мальчик так хочет родиться,
а девочка так хочет родиться,
и хочется им ещё
сестрёнку или братишку.
А нам хорошо с тобой.
Дай откусить эту тонкую плёночку
на нижней губе.
Ты берёшь меня за затылок,
и с шеи бегут мурашки,
их много-много,
и бегают они быстро,
ты ведь знаешь это.
Ресницы наши сцепились,
и тонкий запах играет на щеке.
А мальчик так хочет родиться,
а девочка так хочет родиться,
а нам хорошо с тобой.

Ветерок прыгает в окно,
ползёт по полу, по стене,
смешной-смешной,
как задранный подбородок.
И хочется им ещё
сестрёнку или братишку.
Ты читала толстые книжки
Толстого? Раньше все их читали.
Хорошо бы поездить на лошади,
полежать на стогу.
Я провожу тебя на вокзал,
мы будем стоять и прощаться.
Не торопись. Медленнее,
медленнее, ещё, ещё.
Господи! Никому ещё не было
так хорошо со мной, и мне тоже.
Не вскрикивай так отчаянно,
я тебе верю. Господи!
И хочется им ещё
сестрёнку или братишку.
И мы — как брат и сестра,
ты помнишь наших родителей,
пусть разные, но они наши,
разве так не бывает.
Мир — как вокзал,
как задранный подбородок,
смешной-смешной,
как толстая книжка,
раньше все их читали,
ты ведь знаешь это,
и нам хорошо с тобой.
Господи! Я тебе верю.

Торжество земледелия

Комочки влажные моей земли и воли...

О. Мандельштам

Я уйду под тебя, под игривый песок и под глину,
А хочу в чернозём, прорасти в сущность лучших пород.
Флору, фауну, воздух оставлю во весь разворот,
Задохнусь, захлебнусь, заикнусь да, пожалуй, и сгину.

Будут землю копать тяжёло мастера, в матерок,
Лопатою мерить типовой новый глинистый домик.
Мужики, не спеши, дай вам, господи, водочки кроме,
Чтоб по взмокшим рубахам стучал молодой ветерок.

Да о чём говорить, их движенья предельно умелы,
Их клиенты без званий, идут в сантиметрах труда,
Лишь помехою ливень, бредущий с утра до утра,
Землепашцам моим, выводящим скупые пределы.

Я уже на просмотре — я вспорот и узнан врачом,
Я зашит, в холодильник говядиной свежее брошен,
Заморожен, вновь достан, одет, максимально ухожен,
В гроб положен, лежу. Слёзы льют — ну а я здесь при чём!

Слёзы, слёзы — зачем, я уже заморожен, не слышу.
Я б хотел повернуться, привстать, чмокнуть вас, дорогих.
Только век мой измерен, он грубо нагледен, как стих,
И уже без меня сумасшедший взбегаёт на крышу.

Я хочу этот воздух запомнить надорванной хордой,
Только мало могу, лежебока, промёрзший насквозь.
Вот и крышка тебе, вот и гвоздь вбит, ещё один гвоздь.
К счастью, слёзы пока не просохли на вздёрнутой морде.

Хоть согреют они, когда будут меня опускать,
И полати ровнять, и кидать на полати землицу,
Лишь вороны вверху — погребальные русские птицы —
Будут, нагло галдя, за моими людьми наблюдать.

А потом все уйдут и оставят. Веночки, цветочки,
Крест невзрачный, который я верно и медленно нёс.
И остался. Ночуй! Одинокий кладбищенский пёс,
Может, скрасит грудным завыванием первую ночьку.

Ну а там как пойдёт — постучишься направо, налево.
Те же толки, да холод, беспросветный, бесхитростный мрак!
В прошлом всё, не мечтай. Наливай — новомодный кабак,
Каждый в прошлом король, ну а каждая — та королева.

В этой тьме, в этой мгле есть улада, по счастью, одна:
О тебе вспоминать, видеть чётко, замедленно, жутко
Каждый твой сантиметр, видеть нас как живых по минуткам.
Вот такая цена, привилегия мёртвым дана.

Это горько смотреть, сколько отдано дней на утеху
Пустоте, суете, нелюбви, построеньям ума.
Только книги остались, немые остались дома
Да мучительный, мелкий и гадкий бесёнок успеха.

Я искал свой покой и имел простодушную волю,
Только в счастье влипал и барахтался в нём, как в меду,
Да, всё знал: что уйду, что по миру один побреду,
Что всевышнюю волю по опыту сердца глаголю.

Путь костлявый лежит — не хандри, землячок, — в чернозём.
Хоть старательны, но чего-то у нас не хватило,
А она хороша, эта братская наша могила —
Та земля, о которой мы лучшую песню поём.

...где мы любили
И. Бродский

Безраздельность железной кровати, упершейся в ночь;
Становясь мужиком и по памяти скромной не шарясь,
Я не знаю, дружище, чем мог бы собрату помочь —
Разве крикнуть, как встарь, беззаботно и твердо: «Товарищ!»

И не помня себя на подскоке пружины дурной,
Сонный феррум тряся, будто душу со дна доставая,
Не узришь, не поймёшь, что случится той ночью с тобой,
Будешь праздно лететь в турникет и под тяжесть трамвая.

Ты запомнишь усталой и мелкой старухи исход
Мимо окон, кольнёт незнакомое вялое чувство
Повседневности дней, ввечеру разбирать будут скот,
Демонстрируя сельское миру железа искусство.

По лесам хорошо катануть на лихом мотоцикле —
Это, брат мой, сродни городскому восторгу пружин.
Ни по ржи, ни по лжи к факту жизни еще не привыкли
И летаем по ней, как на праздник пропущенный джин.

Не дури и не ёрзай в пробеге пружинистых линий,
Будь достоин и горд, мужиковствуя всласть на миру,
Я, конечно, вернусь, точно старший развесистый Плиний,
И поэтому ночью, увы, по старинке умру.

Можно долго и нежно играть в переплёт, в дурака,
Можно нежно и долго сочиться по лестнице кадров,
Но встает корешок и безумием метит в века,
И за ним в изголовье столбняками толпится эскадра.

На пружинах времён опускаясь в сердечную слизь,
Рож и ржи забывая захлёб и над пропастью тая,
В безраздельность кровати покоя и воли уткнись,
Умирай по старинке у кромки занюханной рая.

Я не знаю, дружище, чем мог бы собрату помочь,
Становясь мужиком и по памяти скромной не шарясь.
Безраздельность кровати, железной, упёршейся в ночь, —
Разве крикнуть, как встарь, беззаботно и твёрдо: «Товарищ».

Неотправленные письма дочери

I

Он стучит по подоконнику,
у него такая работа,
он хочет, чтобы о нём узнали —
и я услышал, узнал — дождь.
Он перестал стучать, как умер.
Кто запомнил его —
травинки, земля, кто?
Ты далеко, девочка моя,
у вас дождей почти не бывает,
некому стучать в подоконник,
твой папа ещё жив.

II

Мы шли вечером домой,
я держал тебя за руку
и пел тебе взрослую песню.
Ты думала о чём-то своём,
а я всё пел — до конца,
свой немодный репертуар.

Потом мы перестали ходить,
и я пел его уже только себе.
Ты помнишь хоть строчку?
Ты помнишь — я пел?

III

Бабушка отрезала себя
на нашей с тобой фотографии —
она казалась себе некрасивой,
а мы так любили её.
Мамочка, где ты сейчас?
Земля над тобой молчит,
я обижал тебя —
и простить меня некому.
Я смотрю в обрезанное фото,
где за ломаной линией — ты...

IV

Ты далеко, и наша собака выросла без тебя,
она состарилась и лежит — вздыхает.
Она не узнает тебя и облает уже как чужую.
У неё был инсульт, потом уколы, уколы —
она пободрела, но мы ждём ухудшения.
Мы радуемся её аппетиту, её настроению.
Девочка моя, чему радуешься ты?
Твой папа ещё жив.

V

Читал книгу и наворачнулись слёзы,
будто ослеп — вспомнил о тебе.
Вечером мыл руки и зачем-то их долго мылил,
а вода все текла и текла,

била по умывальнику,
как дождь в подоконник.
Долго смотрел на руки —
чистые, мокрые, старые.
Сколько воды потрачено в жизни на них?
Вот и я умыл руки, будто закончил дела,
и с меня не спросят,
а дела теперь только у тебя.

Чего так ждут твои поля,
кого зовут они?
Вздыхает, охает земля,
бугруется, лонит.
Ещё зерно не сведено
и земледельцы спят,
ещё затянута окно
в обтяжек переклад,
ещё белится пересвет
и вьючится в хлад дом,
но рвётся луч на да и нет,
топорщится углом.

Крошит поверхности на соль,
на до-ре-фа, в желток,
выглаживая бритвой голь,
проверчивая сток,
прослаивая перестук
звонящихся морщин,
подвешивая каждый сук
к орнаменту причин.
И пустотой руководя,
обхаживая и садясь,
на перемятые поля,
в их шоколад и грязь,

в их перемес и в их надкус,
в их насморк и надсад,
как якорь опускает груз
сквозь трюмы, в недогляд,
в подкорки нежности, в сугроб —
проваленный, как рот,
разъятый, сочный, годный, чтоб
втащить весь небосвод.

Поля текут, поля спешат,
навзрыд бочатся, в дрожь
хрустятся и прячут взгляд,
толкуются ни за грош,
ни за зерно, ни борозду,
за беспредел, за стон,
за поднебесную узду,
упершуюся в сон.

Чтоб облегать меня,
Лишь надо быть тобою —
Стекать по мне, воздушиться водою,
И колыхать сквозь слух сосудистой листвою,
И шелест не менять, и шёпот не менять.

Чтоб литься, облегать,
Твой череп намаячить
И такт его означить,
Земелиться, как датчик, в такт пере-пере-датчик,
И пламенеть, что спать, и каменеть, что спать.

Чтоб облегать, чтоб облегать.



Ольга Исупова

Родилась в Барнауле. Окончила АГУ по специальности «филолог», БГПУ — «психолог». Работала в Алтайском политехническом институте, системе МВД, Кадетской школе. Практикующий психолог. Пишет стихи, прозу. Публиковалась в журналах: «Барнаул», «Бийский вестник», «Встреча», «Культура Алтайского края». Член Союза писателей России.

КОТ АМСТЕРА

— **К**упите котика! — деревянным голосом повторял мужчина неопределенной внешности. От его фигуры веяло такой серой безнадежностью, что люди, проходящие по рынку, старались поскорее проскользнуть мимо.

И вдруг — как спасающий бог из машины — перед неудачливым продавцом остановился молодой человек.

— Купите котика! — воспрянув духом, повторил серый мужчина. — Смотрите, какой красавец!

А кот и правда был хорош. Крупный, с сияющей огненной шерстью и неожиданно синими глазами. Черные пушистые брови делали кошачью мордочку похожей на человеческое лицо.

— Возьмите, всего сто рублей, — и будет у вас друг.

Кот посмотрел на потенциального покупателя действительно дружелюбно.

— А сколько ему?

— Молодой, всего год. Аккуратный, к лотку приучен.

Продавец, видя колебания прохожего, принялся «дожимать».

— Не продал бы, но тесно стало. Кошка еще котят принесла. Берите, не пожалеете!

— М-да, симпатичный кот.

Молодой человек колебался. Все детство, когда он еще был Игорьком, ему ни о чем не мечталось так сладко, как о коте. Большом, рыжем, добром. Но мама берегла мебель от кошачьих когтей. Потом много чего было в жизни, и мечта о коте улетучилась. Теперь же тридцатидвухлетний Игорь стоял перед своей детской грезой.

«А что, — прикинул он, — у меня однушка нормальная, лоджия — на двоих места хватит. Слава богу, с Люськой разъехались — заживем на просторе».

— Давай, — решительно сказал Игорь продавцу.

— Только вот еще что, — передавая кота, добавил тот. — Самое главное. Это чудесный кот. Он деньги чует.

— Это как же?

— Чует. И тебя будет к ним приводить.

Игорь опять заколебался: ну сумасшедших кругом!.. Но быстро успокоился: в конце концов, кот — это кот, а хозяин — это хозяин.

— Его обязательно нужно выводить раз в день на улицу. Там он тебя к деньгам и приведет.

— Сбербанк, что ли, грабить?

— Да все нормально. Разберешься.

Продавец подмигнул оплывшим глазом, сказал рыжему:

— Пока, котик, — и быстро-быстро, будто убегая, пошел прочь от рынка. Уже сворачивая за угол, серый мужчина крикнул:

— Это кот Амстера!

— Кого-кого?

Но отвечать было уже некому.

— Давай, кот Амстера, пошли, — проворчал Игорь.

Продавец был такой странный, что скороспелый кошачий хозяин по дороге домой несколько раз пожал плечами. Он жил в трех остановках от рынка и решил пройти пешком.

— Что, Амстер, — обратился Игорь к новому другу, — заодно и погуляем?

Началась тихая аллея. Для кота подходяще.

— Гуляй!

Амстер деловито двинулся вперед. Он сразу сошел с асфальта на землю и начал ее изучать. Припадал к ней, принимался, энергично пофыркивал — будто что-то искал. Вдруг Амстер пружинно прыгнул — четко, красиво, как натренированный спортсмен, и возвратился с добычей.

— Ну, что такое у тебя?

В зубах у кота лиловела пятисотрублевая бумажка!

Игорь потрясенно хохотнул.

— Ты что, серьезно чуешь деньги?

Амстер взглянул со скромным достоинством.

— Ну, кот, свой хлеб ты всегда отработаешь! Подружимся!

На следующий день Игорь решил совместить прогулку с визитом в Управление статистики. Нужно было забрать справку.

Ехали в полупустом трамвае. Кот смиренно сидел в сумке и не высовывался. Сиденье наискосок занимал холеный мужчина в дорогом костюме. На запястье посверкивали розовым золотом часы. Такие господа обычно восседают в машинах-мобилеках, а не трясутся в дребезжащих катафалках!

Мужчина повернул голову, наверное, почувствовал взгляд Игоря. Потянуло коньяком. Ясно! Выпил и не рискнул сам вести машину. Или отправился «в народ» с пьяных глаз. Ловец впечатлений...

Через пару остановок мужчина вышел. Игорь проводил его глазами, потом стал смотреть в окно и не сразу заметил, что кот, выбравшись из сумки, вспрыгнул на только что опустевшее сиденье.

— Амстер! — зашипел хозяин. — Сюда! Скорей!

Кот послушно вернулся. В его зубах сияла розовым золотом новенькая пяти тысячная купюра! Игорю стало не по себе. Деньги, понятно, выронил подвыпивший господин. Что делать? Но трамвай уже отстукивал, удаляясь, свою железную чечетку, и Игорь поуспокоился. В конце концов, он тут ни при чем. Купюра у господина явно не последняя. Сидит он сейчас где-нибудь в уютном местечке и ни о чем не расстраивается. А Игорь

почему должен? В общем, довольный хозяин скоро гладил добытчика между чёрными бровями и улыбался.

Вечер ушел на приятные подсчеты. Жизнь открывала необычные перспективы. Однушка превращалась в двушку, в трешку, и никаким Люськам не удастся ничего оттяпать. Впереди маячили далекие заманчивые страны и неведомые в его проектном бюро приключения.

Ночь для мечтателя выдалась беспокойной, а рано утром он поднял своего добычливого питомца.

— Собирайся, геолог, в дорогу! — пропел Игорь Амстеру, наливая ему молоко. — Вернемся — рыбки дам.

Коту не слишком хотелось собираться в дорогу. Он тянулся-вытягивался, как эспандер, зевал и ронял сонные слезинки.

— Идем-идем, — торопил Игорь. — Мне на работу. Потом допиши.

Кот, наконец, внял увещеваниям, и искатели сокровищ выбрались на улицу. Было знобко и сыро, нахохленные люди шли деловито, спеша. Амстер постоял, потом нехотя двинулся вперед с таким равнодушным, безучастным видом, что Игорь уже пожалел о затеянной прогулке.

Но тут Амстер взял след. Он уверенно отправился по безлюдному проходу между домами и забрался довольно далеко. Искатели вошли в незнакомый двор и повернули к серой девятиэтажке. Сверкнувшая вдали желтым плащом фигурка впорхнула в подъезд.

Кот побежал вперед и остановился у закрывшейся перед его носом двери. Когда Игорь подошел, Амстер в позе сфинкса сторожил добычу. На асфальте у самой двери лежала десятирублевая монета.

— Да, геолог! Не знал, что ты работаешь и по мелочам! Ладно, домой!

Но Амстер не двигался.

— Да идем же, я опаздываю!

Кот не реагировал.

— Господи! — дошло до Игоря. — Я что, должен поднять?

Он подобрал монету, и денежный кот мгновенно тронулся с места.

Вечером неумный хозяин попытался позвать питомца на добавочную прогулку, но тот взглянул равнодушно, как пресытившийся вельможа на лишнюю порцию бланманже за ужином.

Игорь решил особо не командовать Амстером, и все пошло довольно гладко. Назавтра поодаль от спортивной коробки, где школьники играли в футбол, валялись триста рублей — три сотни, свернутые фантиком.

Следующий день оказался богаче. В парке, прямо на ворохе горьковатым дымом пахнущих листьев одалисками разлеглись тысячные бумажки. Их было семь! А потом Амстер учуял еще одну — она зарылась поглубже.

Игорь огляделся. Никого, только вдалеке проходили люди.

В другой раз владелец чудесного кота подобрал торчащую из ржавой водосточной трубы тысячную. Выуживая бумажку, удачник проворчал:

— Ты за гигиеной-то послеживай!

В общем, Игорь быстро освоился с ситуацией. Изучил привычки и наклонности кота. По утрам тот работать не любил и приносил качественно меньше, чем днем или вечером (пришлось, исключительно для эксперимента, еще пару раз поднять лежебоку рано). Денежный сыщик брал исключительно первый след и шел по нему до конца. Бумажные деньги доставлял в зубах, а около монет стоял, поджидая хозяина. Если бумажек было много, давал Игорю снимать урожай, а сам отходил в сторонку. Так автор демонстрационного образца уникальной машины позволяет помощникам хлопотать над ней.

Шлейку кот не признавал категорически. При попытке Игоря засунуть Амстера в этот городской хомутик борец за свободу перекусил кожаные постромки и отпрыгнул на шкаф. И сидел там с таким грозным, независимым видом, что виновному пришлось немало поунижаться, прежде чем прощение было получено.

Еще кот поставил железное условие: хозяин обязан забрать все то, что добыто. Даже если деньги мокрые или рваные, лежат в луже. При попытке отказа кот не трогался с места, рычал. Чтобы не сердить добытчика, приходилось соглашаться на все. Вернее, это Игорь так думал, что на все.

Через месяц случилось. Амстер, едва выйдя за порог, потянул к крошечному универсаму через дорогу. Первый снежок днем растаял, а сейчас, к вечеру, подморозило.

Амстер замер у крыльца магазинчика. Скоро показалась пожилая женщина в тесно облегающем пальто. Ее сапоги тяжело скользили по бугристому ледку на крыльце. Недавняя покупательница, видно, спеша, на ходу укладывала кошелек в полурасстегнутую сумку. Вторую руку женщины оттягивал объемный пакет.

Амстер гипнотизерским взором впился в несчастную, которая все еще мучилась с ручками, язычками и замочками. Наконец, она закончила борьбу и, неловко переступая, стала спускаться. Игорь не выдержал и подскочил к женщине.

— Давайте руку, я помогу!

— Ох, спасибо!

Совместными усилиями спуск был преодолен. Слегка улыбнувшись спасителю на прощанье, проходящая, оскальзываясь и не оставляя попыток спешить, направилась вдоль по улице. Посмотрев женщине вслед, Игорь по инерции перевел взгляд на крыльцо. Там что-то темнело. Кошелек! Все-таки не сумела уложить! Два прыжка — поднять, полминуты — догнать...

— Вы обронули, возьмите!

Игорь никогда еще не видел Амстера таким разъяренным. Глаза вместо синих стали почти красными, зубы ощерились ненавистью, закрик вздыбился так, что кот стал похож на звериного монстра-горбуна.

— Амстер, нельзя, нельзя! Сидеть!

Женщина побледнела, обмерла.

— Он что, не отдает мне кошелек?

— Нет-нет, вы спрячьте его скорей и идите.

— Господи!

Кот позволил бедняжке уйти, но теперь настала очередь хозяйина. Амстер зашипел, зарычал, задержался, как бешеный пес, — и атаковал непослушного.

Для начала кот вцепился алмазными когтями в кисть Игоря, там, где вены — но тот отскочил в сторону. Пошла кровь. Затем были боевые броски по ногам и в лицо. Кот явно вознамерился добыть себе трофей — клочок мяса или хотя бы волос.

Начали собираться прохожие.

— Кот бешеный!

— Милиция!

— Отстрелить его!

— Дожили — кот бьет человека! Конец света, что ли?!

Наверное, действительно дошло бы до милиции, но Игорь сумел вовремя сказать самым естественным тоном: «Ничего страшного, просто я не пускаю кота на похождения. Вот он и по-нервничал».

Вид у хозяина был растерзанный, лицо и руки в крови, но зеваки все-таки стали расходиться.

Дома состоялся неприятный разговор.

— Пойми, дуралей, — втолковывал Игорь, обрабатывая раны перекисью водорода. — Ты, конечно, чудесный кот и находишь деньги, как тебе положено. Но я-то не вор и не грабитель. Я — ведущий инженер. Мирный человек. Одно дело, если деньги ничьи. Они лежат, хозяина никакого нет. И совсем другое, когда хозяин есть. Женщина у магазина не успела потерять кошелек.

Кот иронически ухмыльнулся.

— Ну ладно, успела. Но все равно я знал, что это ее вещь.

Амстер сузил глаза и, отвернувшись, лег на бок.

— Не сердись, просто делай, как раньше.

Но как раньше уже не получалось. Что-то разладилось в тонкой механике безопасного отлавливания денег. Следующие дни прошли под знаком мелочи: десять, тридцать, пятьдесят копеек, даже пятак. Игорь гадал: иссякла сила Амстера или же он готов сюрприз? И склонялся ко второму.

Через неделю сюрприз воспоследовал.

Корогконогий мужчина в ушастой кепке садился в такси и, открывая дверцу, выронил барсетку. Игорь стоял в трех шагах на тротуаре и крикнул, но пассажир уже захлопнул дверцу. Машина тронулась и скоро затерялась в общем потоке.

Игорь взглянул на Амстера. Тот стоял рядом в напряженной позе. Подчинившись, Игорь поднял находку. Люди вокруг шли по своим делам, не обращая на него внимания. Кот ждал.

— Ладно, пойдём!

В конце концов, в барсетке должны быть документы. Номер телефона тоже найдется. Он позвонит и вернет. Не на улице же копать в сумке! Скорей домой!

В барсетке действительно был паспорт на имя Горкунова Вячеслава Андреевича, водительские права, ключи, карточка клуба «Олимп». Нашелся и телефон — на квитанции. В суматохе Игорь не сразу посмотрел на деньги. Их было шестьсот рублей.

Горкунов очень обрадовался звонку, и через полчаса барсетка была возвращена владельцу.

Как Игорь ни отказывался от вознаграждения, отпереться не удалось.

— Ну что вы, это такой пустяк! Представьте, сколько бы я восстанавливал документы! Счастье, что еще есть честные люди!

На душе у Игоря было так мерзко, будто он наелся гнилых крыс. Да что это такое! Он — приличный человек! Уважаемый сотрудник! В институте их группе поручают самые ответственные проекты!

— Вот что, друг! — сказал он Амстеру, стараясь вложить в свои слова максимум убеждения. — Я тебе не барсеточник! И не карманник!

Кот жестко стукнул хвостом, будто кулаком по столу.

— Ну да, да, я купил новый компьютер, «плазму», кое-что из мебели, выложил коридор плиткой, приделся. Спасибо тебе. Но все же было честно. А теперь? Куда тебя несет? Хочешь, чтобы меня посадили?

Кот презрительно фыркнул.

— Нет, скажи мне, в чем я виноват? Что мечтал о коте? Да если бы я знал, что ты такой — не покупал бы, и все!

Амстер медленно поднялся и неслышно удалился на кухню, понуриив голову.

Игорь полночи ворочался, потом не выдержал и тихонько пошел к кошачьему коврику.

— Амстер! — чуть слышно позвал человек. — Амстер, прости меня! Если хочешь, будь денежным котом, но только чтобы

я не сталкивался с хозяевами. А еще лучше, будь уже обычным, без фантазий. Станем есть собственный хлеб и дружить.

Кот не издал ни звука, не переменял позы, только в подсветке соседней АЗС сверкнули щелочки его глаз.

С той поры Игорь узнал, что такое грязные деньги. Это просто-напросто деньги из лужи, из строительного раствора, гудрона, из кучки понятно чего. А уж уличная урна — это семечки. Но венец испытаний был впереди.

Они с Амстером направлялись к молочному киоску за их любимым мороженым, когда из соседнего дома выползла сухонькая старушка с вьедливыми глазами на темном лице. Она с подозрением взглянула на Игоря и засеменила прочь. Старушка прошла всего несколько шагов, как вдруг у кота в зубах хозяин заметил потертое кожаное портмоне.

— Что? — сдавленно вскрикнул он.

Бдительная старушка обернулась на звук, — а дальше все происходило, будто где-то в фильме, а не наяву.

— Ограбили! Воры! Разбойники! И кота научил! Вот шайка! Милиция! Люди! Помогите! Пожар! Убивают! Взнос пошла делать в Сбербанк — пятнадцать тысяч украли! Спа-си-те!

Из подъезда высыпали люди, загомонили, кто-то уже набирал милицию.

Объясняться пришлось в отделении. Лысый капитан Ванин с синеватым от усталости и недавнего бритья лицом был удивлен необычным делом. Он крикнул в сторону распахнутой двери в кабинет с надписью «Следователь»:

— Слышишь, Клим Сергеич, тут гопники уже с кошками работают!

Через два часа Игорь выходил из милиции, напутствуемый капитаном Ваниным.

— Вы, товарищ Гурин, воспитывайте своего кота, а то до статьи недалеко. Что такое, понимаешь: бабушка выронила, кот поднял. Хорошо, что вы еще не прикасались, иначе ...

После этого Игорь объявил:

— Все, Амстер, я с тобой больше не хожу. Даю тебе вольную.

Я открываю дверь — иди, гуляй. Нагуляешься — поскребешься. Не хочешь — не гуляй. К лотку ты приучен. А неприятностей с меня хватит.

Кот, кажется, не поверил собственным ушам и до самой полуночи с надеждой поглядывал на дверь. Но хозяин оставался неумолим.

«Плазма» блызнула утром, когда Игорь собрался послушать новости. Назавтра «сдох» компьютер. А дальше посыпалось. Рвалась и непоправимо пачкалась новая хорошая одежда. Коридорная плитка «Леруа Мерлен» трескалась, как яичная скорлупа. Внезапное благополучие рушилось на глазах. Квартиру захлестнул хаос. Кот все эти дни лежал у себя на коврикe — вялый, скучный, какой-то полубольной. Нужно было принимать меры.

— Амстер, собирайся! Пойдем!

Кот мгновенно ожил, повеселел, быстро застучал коготками на кухню к блюдцу молока и через полминуты ждал у двери. От подъезда он потянул было к соседним домам, но Игорь подхватил его и посадил в сумку.

— Поедем на трамвае! Тут недалеко.

Амстер, видимо, узнал здание рынка, около которого они с Игорем познакомились — и заволновался, заскребся. Хозяин прикрикнул:

— Сиди, а то закрою сумку!

Кот только фыркнул на глупость хозяина: не закроешь! Ведь товар нужно показывать лицом!

Стояли долго, но публика, как сговорившись, пропускала рыжего кота мимо взглядов. Игорь пытался зазывать покупателей, но, наверное, сказывалось отсутствие опыта. Истратив полсубботы, вернулись несолоно хлебавши. Амстер шел, напряженно отвернувшись от хозяина.

Около заметенного снегом палисадника валялась пятидесятирублевка. Нервно отбрасывая ее носком ботинка, Игорь поскользнулся и упал на бок, здорово приложившись головой и коленом.

Дома, растирая боевые ушибы одеколоном, несломленный хозяин веско объявил свое решение:

— Завтра воскресенье. Мы опять идем на рынок. Если тебя не купят, я возьму неделю за свой счет и буду ходить на рынок каждый день, пока какой-нибудь идиот не попадется на твои синие глазки! Ишь, кот Амстера! Это кто, твоя первая жертва? Или ты из Амстердама? Может быть, в этом городе дозволено все, но у меня — нет. Запомни это.

Кот тихонько пробрался к своему коврику и замер.

Следующим утром ситуация на рынке повторилась. Публика проходила мимо без единого вопроса, словно на Игоре с Амстером была надета шапка-невидимка. Кот отчаянно зевал, заражая хозяина.

И вдруг за прилавком, где сельчане торговали медом, мелькнуло лицо мужчины — того, кто продал кота! Игорь сорвался с места, крича:

— Мужчина, мужчина! Стойте! Извините! Я у вас покупал Амстера! Подождите!

Но человека уже не было.

Люди поглядывали на крикуна с недоумением. Игорь пытался расспросить, но, похоже, никто ничего не видел. Пришлось отойти.

А может, он обознался? У того продавца лицо было серое, вид измочаленный, этот же — как огурчик.

А вдруг он посвежел просто оттого, что избавился от Амстера?

Первое, что Игорь увидел, войдя в квартиру — новое зеркало, треснувшее по диагонали. А второе — диван, белая кожаная обивка которого оказалась расплосованной так, будто над ней потрудились племя потрошителей. Вещам, купленным на «кошачий капитал», наступил конец.

— Так, Амстер, проясним позиции, — отчеканил Игорь. — Мы с тобой теперь в полном расчете. Ты дал, ты и взял. Это, видно, шутки у тебя такие. Но я не дам над собой издеваться! Мне ничего не нужно! И не было ничего нужно! Я ни о чем тебя не просил! Ни о «двушках», ни о «трешках», ни о диванах! Зачем мне все это, если жизни уже нет! Ты залез мне в душу и вытоптал ее, нагадил, как в свой лоток! Я не хочу уже ничего!

Игорь и не заметил, что давно перешел на крик. Кот же стоял рядом так тихо, будто его совсем не было.

Вдруг, осененный идеей, Игорь схватил Амстера в охапку и решительно побежал вниз. Постоял у подъезда, потом дошагал до соседних гаражей и там поставил кота на землю.

— Иди. Зачем тебя продавать? Вольная так вольная. Гуляй. На пропитание ты себе заработаешь.

Кот укоризненно уставился на хозяина и не тронулся с места.

— Не смотри. Уже не действует. Прощай.

И, не оглядываясь, свободный человек быстро пошел прочь.

Отмечая событие, Игорь врубил музыкальное попурри, затем достал из заначки на Новый год испанское вино и малосольную семгу. Голову кружило предощущение чуда. Такое было с Гуриным в детстве, да еще когда они наконец разменялись с Люськой, и не осталось ни малейшего повода видаться вновь.

Независимость закончилась утром, когда Игорь, отправляясь на работу, открыл дверь. Рыжая меховая молния ударила в середину коридора, сшибив банкетку, а потом метнулась на кухню, к миске с едой.

— Явился? — хозяин мрачно усмехнулся. — Ну, жди.

На работе Игорь смотрел в монитор компьютера и вместо автокадовых линий видел свою комнату. Он, Игорь, ночью подкрадывается к спящему Амстеру и целится в него из охотничьего ружья, одолженного у соседа Мироныча. Целится долго, обстоятельно, а кот не шевелится, будто уже убит. Чуть слышное дыхание даже не поднимает пушистые бока. От всего облика спящего веет беззащитной кротостью и невинностью.

Игорь стреляет. Раз, два, три — сколько хватает зарядов. Жертва продолжает мирно спать, пули с мышинным писком отскакивают от него, впиваются в щеки, глаза, шею убийцы и взрываются в его теле. А квартира уже полна котами — рыжими, черно-белыми, серыми, и все они фырчат, чихают и презрительно трясут усами.

Игорь чувствовал, что еще немного, и он просто сойдет с ума. Пришлось идти к начальнику и оформлять три отгула. За это время надо разобраться с котом. Кому-то из них двоих — конец.

Едва переступив порог, хозяин повседневным тоном, будто так было всегда, позвал:

— Амстер, ко мне!

Кот осторожно подошел, но грозы не последовало. На Игоря накатило такое спокойствие, какое случается с приговоренными к казни. Предчувствием свободы было чревато это терпение. Последний раз он дает шанс этому вычудку. А дальше, несмотря ни на какие видения, — до чего с ним дожил! — курс пойдет на уничтожение противника.

— Идем, — слова были тяжелы, как камень, привязанный к шее старинного грешника. — Только предупреждаю: никаких фокусов, ограблений и краж. Иначе мы — злейшие враги.

Кот ответил загадочным взглядом и снисходительно махнул пушистым хвостом.

Погодка была с подвохом: мелкий, рассыпчатый, как манная крупа, снежок прикрывал гладкий и раскатанный, на зависть зимним тренировочным комплексам, лед. Тормозили на каждом шагу: кот еле плелся, иногда вяло подбрасывая носом снежную крупу. Затем со скучающим видом подошел к соседскому погребу с отпахнутой крышкой.

— Амстер, назад! — испуганно скомандовал Игорь.

Кот тут же послушно вернулся. Они потоптались около подъезда, и, наконец, Амстер вопросительно поднял глаза.

— Все, нагулялся?

На ступеньке подъезда валялась пятирублевая монета. Игорь машинально поднял ее, опустил в карман. Кот созерцал эту сцену с непроницаемым видом. Хозяин все еще ждал каверзы, но ее не последовало.

Может, котяра понял серьезность положения и сдался? Как бы то ни было, до ночи так ничего и не произошло.

Ночь выдалась беспокойная. Игорь беспрестанно ворочался, сбивая простыню в рыхлый жгут. Было неожиданно жалко Амстера. В конце концов, чего он хочет от бедного животного? Ведь оно же не виновато, что у него — такой странный, удивительный инстинкт! Ведь кот отдавал ему, хозяину, все, что у него есть.

Свой талант. И не вина Амстера, что он не всегда удобен. Человек на то и человек, чтобы разобраться в жизни. И помочь питомцам.

Утро началось со звонка в дверь. Сосед Виктор. Молодой активный пенсионер. Одет по-рабочему.

— Ты извини, Игорь. Я так, наудачу звоню. Знаю, вообще-то ты на работе. Ну, мало ли, думаю.

— Ничего, у меня отгул.

— Вот и славно. Я был вчера в своем погребе, видел вас с котом.

— И что?! — Игорь настороженно замер.

— Да ничего. Стенка у погреба подсыпается. А погреба наши рядышком стоят. Ты же у Степанова покупал?

— И что? — продолжал недоумевать хозяин кота.

— А то, что собраться бы нам, да каждому в своем погребу укрепить стенку, землю притоптать, щиты вот поставить, — он кивнул на прислоненные к стене плоские прямоугольные деревяшки. — Ты давно в свой погреб заглядывал?

— Да я им совсем не пользуюсь. Просто купил квартиру со всем вместе: с мебелью, с погребом. Что с мебелью — мне удобно, а что с погребом — хозяину. Пришлось согласиться. Квартира понравилась.

Сосед помялся.

— Игорь, ну, может, все-таки соберешься? А то у меня там банки землей засыпаны сильно. Жена пласталась, закручивала. Погреба-то рядом. Если один сработает, а другой — нет, толку не будет. А мы тебе капустки дадим, огурчиков. Ты пока сделай, в порядок приведи, а летом, если уж погреб не нужен, продашь. Щиты я тебе дам. Ну как, идет? — и Виктор в ожидании воззрился на Игоря.

«А что? — подумалось тому. — Чего сидеть, в стенку глядеть? Сделаю человеческое дело».

— Уговорил. Пойду промнусь.

— Молоток! — и сосед, оставив два щита, довольный, удалился.

— Амстер, ты со мной или посидишь?

Кот всем своим видом — нейтральным, бесстрастным — показывал, что посидит.

— Ладно, тогда я пошел!

Погреб осыпался с одной стороны, но довольно основательно. Ничего, время есть. Лопата тоже.

— Давненько не брал я в руки шашек!

Игорь вонзил штыковое лезвие в землю. Мягкая. Хорошо пошла! Взял — приткнул — оттрамбовал.

Кажется, увлекся. Заглубился слишком.

Вдруг лопата, зазвенев, ткнулась во что-то твердое и отскочила. Игорь наклонился, потрогал, покопал по бокам — и скоро держал в руках темный окованный ларец.

Крышка, будто только и ждала прикосновения, отскочила... Монеты! Старинные! А сверху — записка. Подсвечивая фонариком, нечаянный кладоискатель прочитал старо-русские письма:

«Ларец сей изготовлен в 1801 году мастером, долженствующим остаться безымянным. Смыслом жизни своей полагая освобождение многострадальной Родины нашей от растления душ и умов, благословен я к пребыванию на Земле сроком десять тысяч лет.

Представ затем перед Господом, обязан буду предъявить результаты трудов моих о вочеловечивании человека.

Тот, в чьих руках сейчас ларец, пребывай в уверенности: ты выдержал испытание, а мой помощник привел тебя сюда. Ларец и его содержимое — твои. Владей и помни: ты — человек».

— Амстер, смотри, что я нашел! — закричал Игорь, вбегая в квартиру.

Но Амстера в квартире больше не было.

Любовь Наумова

Родилась в селе Горевка Алейского района. Окончила Барнаульский государственный пединститут по специальности «учитель русского языка и литературы». Работала в школе, администрации Алейского района. Печаталась в газетах «Кузбасс», «Алтайская правда», «Маяк труда», журнале «Алтай».



ОНИ НАС ЖДУТ

Огромный автобус неуклюже вилял по проселочным дорогам. Пассажиры колыхались в окнах. Со стороны посмотришь: заблудился, что ли? Морозящий дождь казался зеленоватым от сочной болотной травы, от молодых березовых листочков, с которыми перемешивались его капли, слипаясь в тонкие струи.

Предстоящая встреча тревогой студит душу, выжимает слезы. По сторонам дороги бесконечной чередой обелиски.

...С октября 1941-го по март 1943-го здесь прогремело четыре сражения, в которых участвовали миллионы солдат и тысячи танков. На центральном участке советско-германского фронта развернулась одна из кровопролитных битв Великой Отечественной. Сегодня ее называют Ржевской. В ней потери, по последним данным, превосходили потери Сталинградской битвы. Командующие Калининским и Западным фронтами не любили вспоминать о тех днях, когда, отодвинув фашистов от Москвы, советские войска остановились здесь, в ржевских болотах. На два года.

Безуспешные лобовые атаки породили жуткие названия этих мест: «трупное поле», «долина смерти», «роща смерти». Современные исследователи отмечают, что ни свидетельства выживших, ни немецкие трофейные документы не обнаруживают ни одного факта коллективной сдачи в плен. Не сдавались до последнего вздоха.

В официальной историографии Великой Отечественной войны до недавних лет отдельно ржевских сражений не было, хотя по жертвам, по протяженности, по трагедийности ржевские битвы не сравнимы ни с какими другими. Болота тверской земли скрывают до сих пор жуткую трагедию тех дней. «Спросите любого из трех встреченных фронтовиков, и вы убедитесь, что один из них воевал подо Ржевом, — написал участник тех событий писатель Михин. — Сколько же побывало там наших войск!»

Земля ржевская — историческая. Омывает ее Волга, река, которая родилась в этих местах. Она здесь такая, какую ее создала природа: нет запруд, плотин. Все здесь изначальное!

...Автобус проехал город Зубцов. Год его основания — 1216-й. Следующий на пути — Ржев. Первое упоминание о Ржеве относится к 1019 году. Древнейшие места. Далее поворачиваем на Оленино. С Оленино разворачиваемся на Нелидово. Такое петляние автобуса понятно: надо доставить немногочисленных пассажиров по городам и селам до самых Великих Лук. Правда, мне показалось, что судьбе угодно было, чтобы я проехала по местам, которые видела только на карте военных действий Ржево-Вяземского сражения: Зубцов, Ржев, Оленино, Нелидово...

Среди тех миллионов участников сражения, среди красноармейцев со всего огромного Союза воевали на калининском направлении и мои земляки. И среди миллионов погибших — они. Сибирские полки прибыли в начале февраля 1942 года на подкрепление Калининскому и Западному фронтам, задыхающимся от натиска группы немецких армий «Центр». Стоял жуткий холод: 35 мороза.

Сейчас за окном лето 2019-го. Я в автобусе пробираюсь долго и медленно к братской могиле, где сегодня покоятся мои земляки. Трое. Воробьев Дмитрий, Быстрянец Федор, Долженко Дмитрий. В могиле захоронены сотни. Но я еду к трем. Они алейские.

Воробьев призывался, правда, с Ключевского района, но его сын Константин — почетный житель города Алейска, всю свою жизнь прожил в нашем городе. Здесь родились дети Константина, внуки. Быстрянец Федор — из Малиновки Алейского района, а Долженко Дмитрий — из моего родного села — Горевки. Тоже алейчанин.

Дорога получилась дальняя: Алейск — Барнаул — Москва — Нелидово — Яблонька. Деревня с этим ласковым названием — место одной из многочисленных братских могил на тверской земле, найденное в Книге Памяти. Когда значится: «Без вести пропал», то представляешь огромную карту СССР и Европы. Где?! А здесь конкретный адрес, будто призыв: «Мы здесь! Приезжайте, приходите! Поплачьте! Омойте слезами наши могилы, скажите нам прощальные слова, как положено по русскому обычаю. Адрес нашей прописки посмертный. Лежим по-братски вперемешку с русской землей, в гимнастерках и бушлатах, пилотках и ушанках, в сапогах и без. С 1942 года. И будем лежать вечно вдали от родных мест под голубыми пилонами с нашими фамилиями».

Внуки моего односельчанина Долженко Дмитрия передали со мной свои фотографии, фото детей, правнуков для деда. Свечи. Цветы.

Дмитрий был трактористом до войны в нашем селе, и повестка на фронт застала его в поле. Прямо с трактора он был доставлен в райвоенкомат, а оттуда на Калининский фронт танкистом. Воевать бойцам пришлось недолго: Быстрянец Федор, что из соседнего села Малиновка, погиб 27 февраля 1942 года в самом начале Ржевско-Вяземского наступления; Дмитрий Долженко — 12 марта, а Воробьев Дмитрий — 13 марта 1942 года. Друг за другом. Под беспрестанным огнем. Шел красноармейцам в момент гибели 41-ый год. Всем троим. Такие бывают совпадения. Это были мужики-труженики, отцы семейств. На их руках еще не сравнялись трудовые мозоли от косы, от лопаты, от топора, от штурвала трактора. В ночи наваливались на солдат еще яркие воспоминания о родных степях, рощах. О семьях. Ведь всего полгода, как из дома. Но воспоминания перемешивались с жуткими картинками прошедшего дня. И ад стоял перед глазами. Ведь был здесь настоящий ад.

...По специально положенным доскам, чтобы не угодить в грязь, спускаюсь с насыпной дороги к окраине стоящего стеной леса. Небольшая поляна ограничена полукругом берез. Здесь между стволами деревьев далеко видны ярко-синие пилоны с фамилиями тех, кто нашел вечный покой в братской могиле. Фамилий — сотни. Глава поселения Ольга Анатольевна, сопровождавшая меня, закрепляет на пилоны самодельные новые таблички: кто-то отыскал родственников, которые значились в похоронках как без вести пропавшие, а оказалось, что погребены они тоже в братской могиле на краю села Яблонька.

Сейчас здесь стоит тишина. Яблонька исчезла с карты Нелидовского района, когда уже наступил мир. Как и многие российские села. У пилонов свежие, не успевшие засохнуть гвоздики, розы, невыгоревшие венки. «Сюда часто приезжают родственники погибших со всех концов бывшего СССР», — объясняет Ольга Анатольевна.

Я стою у могилы и непрерывно говорю, говорю, расставляя свечи, цветы и портреты. Говорю, вроде рассказываю Ольге Николаевне, а мысленно тем, кто лежит в братской могиле. «Конечно, сын Иван, оставшийся после гибели отца девятилетним подростком, нахлебался горя и слез. Все хозяйство было на нем. Доставалось ему и бича, если не справлялся на работе: заступиться некому. Дочь Валя за неуплаченные в срок продналоги побывала в исправительно-трудовом лагере вместе с матерью и теткой. А брат в это время один мыкался у бедных родственников. Иван и Валя были маленького роста. Наверное, и погибший отец, Дмитрий Долженко, был таким, ведь танкисты должны быть невысокими», — говорю, и слезы текут по щекам. Мой неслезливый характер расплавился от той беды, которую я представила явственно в ржевских, нелидовских лесах и болотах. Я говорила, а временами будто причитала: «Живут дети Ивана и Валентины, твои внуки, Дмитрий, сейчас хорошо. Но дочь и сын уже умерли. У Ивана было пятеро детей, четверо из них с высшим образованием. Здесь и агрономы, и зоотехники, и ветврачи, и учителя. У Вали дочь работала до пенсии директором школы. Только сами они, сын и дочь твои, безотцовщина, дети войны, не смогли выучиться. А Мария твоя, Семеновна, дожила до восьмидесяти трех

лет, и привезу я ей землицы на могилу от этой поляны. По земле бегают резвые ножки твоих двенадцати правнуков». Все, что скопилось в душе от дорожной печали, вдруг выплеснулось слезами. Мне казалось, что безмолвные слушатели в земле слышат мой голос. Ведь такая пронзительная стоит тишина! Пропитанное этой тишиной время над братской могилой звенело, и чуть колыхался теплый, влажный из-за мелкого дождя ветерок. Дождичек моросил, мешаясь на щеках со слезами.

Деревня Яблонька, переходившая из рук в руки — от красноармейцев к немцам — сожженная, взрытая гусеницами танков, схоронившая солдат и своих сельчан, мирных жителей, исчезла, оставив свое светлое название навеки в Книге Памяти. Солдаты спят вечным сном на одной из полян ее березовой рощи. Вокруг — десятки могил.

В Интернете недавно появился памятник, который сооружен к 75-летию Победы на холме у Ржева в деревне Хорошево: огромный, более тридцати метров высотой, солдат с автоматом вознесся в небо на крыльях журавлей. Солдатские сапоги не касаются земли. Так и будет парить он в небе вместе с птицами, как ангел войны, вечно озирая поля, долины и березовые рощи с братскими могилами, будто единая душа тех, кто лежит в ржевской земле.



Александр Куляпин

Родился в 1958 году в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Окончил филологический факультет Алтайского государственного университета. Доктор филологических наук, профессор. Автор более 300 научных публикаций, в том числе нескольких монографий. Живет в Барнауле.

ИЗГНАННИК ИЗ КНИЖНОГО РАЯ: человек читающий в художественном мире В. М. Шукшина

В 1973 году газета «Комсомольская правда» опубликовала интервью с Шукшиным под заголовком «Судьбу выстраивает книга». В название публикации была вынесена фраза Шукшина, но ополовиненная. Он высказался не столь определенно: «Книги выстраивают целые судьбы... или не выстраивают». Сочетание взаимоисключающих «выстраивают»/«не выстраивают» выдает неопределенность позиции писателя. Отношения с книжным миром его героев еще более неоднозначны, то они склонны чуть ли не к сакрализации книги, а то, напротив, втоптывают ее в грязь (в рассказе «Психопат» — буквально) или растапливают ею печь (Завьялиха в романе «Любавины»).

В истории случаи, когда книга действительно меняла жизнь людей, не так уж редки. Каждый советский школьник знал по крайней мере о двух таких примерах. Хрестоматийно известным

был в свое время отзыв Ленина о романе Чернышевского «Что делать?»: «Под его влиянием сотни людей делались революционерами. Могло ли это быть, если бы Чернышевский писал бездарно и примитивно? Он, например, увлек моего брата, увлек и меня. Он меня всего глубоко перепаял. <...> Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь».

Другой пример — из знаменитого романа Н. Островского «Как закалялась сталь». Врача военного госпиталя поражает, почему Павка Корчагин никогда не стонет. «Читайте роман «Овод», тогда узнаете», — раскрывает Павка секрет своей стойкости. Более подробно о романе Э. Л. Войнич герой выскажется в разговоре с Ритой Устинович, объясняя во время последней встречи, почему он избегал ее любви: «В этом виноват не только я, но и «Овод», его революционная романтика. Книжки, в которых были ярко описаны мужественные, сильные духом и волей революционеры, бесстрашные, беззаветно преданные нашему делу, оставляли во мне неизгладимое впечатление и желание быть таким, как они. Вот я чувство к тебе встретил по "Оводу"».

Сила воздействия произведений Чернышевского и Войнич на читателей не вызывает удивления, ведь этих писателей смело можно назвать властителями дум, а их книги отнести к числу культовых.

В отличие от приведенных выше примеров героев Шукшина «перепаживает» случайная, да к тому же еще и малопонятная книга. Сыну режиссера Марлена Хуциева Игорю Шукшин во время съемок фильма «Два Федора» «полупрочитал, полурассказал» новеллу о нежданно-негаданно исправившемся хулигане. Чудесное превращение героя из малолетнего преступника в примерного ученика и культурного человека начинается с чтения книги, купленной на украденные деньги. Не зная, что делать с похищенными деньгами, подросток «заходит в первый попавшийся магазин — книжный — и покупает на все деньги самую дорогую толстую книгу, вещь совершенно бесполезную». Читает шукшинский персонаж своеобразно. Объемистую книгу он прочитывает от корки до корки всего за несколько часов, после чего приходит к невеселой мысли, «что ничего он в этой книге не понял». Тем не менее жизнь его радикально изменяется: «Потом он бросает курить,

снова идет в школу и даже начинает хорошо учиться. И в конце концов перестает быть хулиганом».

У Игоря Хуциева сложилось впечатление, что хулиган этот Шукшину симпатичен. Иначе, наверное, и быть не могло, ведь очевидно присутствие в устной новелле элементов автобиографизма и автопсихологизма, симптоматично также, что некоторые мотивы из нее войдут в последующие произведения Шукшина. Например, манера чтения и нескритичность в выборе книг перейдет к герою цикла «Из детских лет Ивана Попова» (рассказ «Гоголь и Райка», 1968). «Читал я действительно черт знает что: вплоть до трудов академика Лысенко — это из ворованных, — вспоминает герой-рассказчик. — Обожал также брошюры — нравилось, что они такие тоненькие, опрятные: отчесал за один присест и в сторону ее». Результат такого чтения, естественно, плачевный: «...я почти ничего не помнил из прочитанной уймы книг, а значит, зря угробил время и отстал в школе».

У героев Шукшина развивается психологический комплекс, который условно можно было бы назвать «комплексом Петрушки». «Благородное побуждение к просвещению» гоголевского Петрушки из поэмы «Мертвые души» проявляется в странной форме: «Ему было совершенно все равно, походжение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, — он все читал с равным вниманием; если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит».

Не совпадает в устной новелле о хулигане и рассказе «Гоголь и Райка» только толщина прочитанных «за один присест» книг — «дорогая», «толстая» в новелле и «тоненькие», «опрятные» в рассказе. Это и понятно — Ванька Попов лишен возможности читать толстые книги. Брошюры академика Лысенко он ворует из школьного шкафа, сквозь узкую щель. Толстая книга для него — недоступная роскошь.

Согласно растиражированной легенде не читал в школьные годы толстых книг и сам автор цикла «Из детских лет Ивана Попова». Первый биограф Шукшина В. Коробов упоминает в своей кни-

ге об инциденте, якобы случившемся на вступительных экзаменах во ВГИК. В ходе собеседования с М. И. Роммом Шукшин «заявил, что ни о каких сценах в «Войне и мире» он рассказать не сможет, так как не читал эпопею Толстого, ибо — каламбур! — это очень толстая книга». По другой версии, речь на экзамене шла не о «Войне и мире», а об «Анне Карениной». После того, как выяснилось, что Шукшин роман Толстого не читал, М. И. Ромм все же оставил абитуриенту шанс на поступление в институт: «Если вас примут, обещаете прочитать «Анну Каренину»?» — «Обещаю. За сутки», — ответил Шукшин. То есть он собирается читать Толстого примерно так же, как он когда-то читал брошюры Лысенко. «Толстого так не читают, — возмутился М. И. Ромм. — Даю вам две недели».

Стоит отметить, что эпизод с похищением книг из школьного шкафа станет важной частью шукшинского биографического мифа. Для Шукшина, так же как для ряда его героев, приобщение к миру культуры начинается с кражи.

В рассказе «Гоголь и Райка» писатель придумал сюжету об изгнании из библиотеки и краже книг особую значимость: «С книгами у меня целая история. <...> Я наловчился воровать книги из школьного книжного шкафа. Он стоял в коридоре, шкаф, и когда летом школу ремонтировали, в коридор — вечером, попозже — можно было легко проникнуть. Дальше — еще легче: шкаф двустворчатый, два колечка на краях створок, замок с дужкой... Приоткроешь створки — щель достаточна, чтоб пролезла рука: выбирай любую! Грех говорить, я это делал с восторгом. Я потом приворовывал еще кое-что по мелочи, в чужие огороды лазил, но никогда такого упоения, такой зудящей страсти не испытывал, как с этими книгами».

Маме нравилось, что я много читаю. Но вот выяснилось, что учусь я в школе на редкость плохо. <...> А тут еще какая-то дура сказала маме, что нельзя, чтобы парнишка так много читал, что бывает — зачитываются. Мама начала немилосердно бороться с моими книгами. Из библиотеки меня выписали, друзьям моим запретили давать мне книги, которые они берут на свое имя. Они, конечно, давали. Мама выследила меня дома, книжки отняла, меня выпорола... Я стал потихоньку снимать с чердака книги, украденные раньше в школьном шкафу».

Похоже, Шукшин несколько сгладил реальную ситуацию. В изложении сестры писателя Н. М. Зиновьевой эта история выглядит более драматично: «У Васи страсть была — книги, он читал их запоем. Мама ругалась, потому что из-за книг у него были нелады с учебой. Да и некоторые соседи говорили, что Вася может свихнуться от чтения — дескать, такие случаи были. Но он что стал делать — он вырывал середину из задачника, допустим, вставлял вместо нее какую-нибудь художественную книгу и так читал. Мама заметила, что он часто перелистывает страницы, а ведь задачи так быстро не решить... Пошла в библиотеку и сказала, чтобы ему больше не давали книг. Он тогда приспособился таскать их из закрытого библиотечного шкафа. Мама увидела и в гневе даже сожгла книги».

Изгнание из библиотеки и запрет читать, безусловно, травмировали детскую психику Васи, тогда еще носившего фамилию Попов, а не Шукшин. Показательно многократное воспроизведение в произведениях писателя этого травматичного для него опыта.

Федор Максимов из рассказа «Как зайка летал на воздушных шариках» (1972) не зря рассуждает о «паническом страхе перед книгой». «Федька, не дочитывай до конца книгу — спишишь!» — предостерегает его бабка Фекла. «Смотри, а то, бывает, до дури зачитываются — с ума сходят»; «...бывает — зачитываются», — пугают героев рассказов «Гоголь и Райка» и «Гена Пройдисвет» (1973). Мать Шукшина, когда у сына «обнаружилась какая-то ненормальная страсть к чтению», опасалась того же.

Книга, сделавшись запретным плодом, становится оттого еще более притягательной. Сестра Шукшина вспоминает о неумной тяге брата к чтению: «Читал днем и ночью. Даже умудрялся читать при лунном свете или с жировухой. Наливал во флакончик жира, протягивал веревочку (фитилек) через картофельный пластик, укрывался одеялом с головой и читал. А однажды заснул с этим горящим фитильком и чудом не задохнулся. Но одеяло все-таки прожег». Так же тайком по ночам читают герои шукшинских рассказов. «Дак я, когда все поснут, лучинку зажгу, бывало, в уголок на печке забьюсь да по складам читаю. Да по всей ноченьке так-то — вот они, глаза-то, и сели», — вспоминает детство старик Баев («Беседы при ясной луне», 1972).

Лишенные возможности удовлетворить свою безудержную страсть дозволенным способом персонажи Шукшина вынуждены искать не совсем законные пути приобщения к культуре. Так, выписанный из библиотеки Иван Попов ворует книги из школьного шкафа.

Примечательно, что героя повести-сказки «До третьих петухов» (1974) Ивана-дурака, которого тоже выгоняют из библиотеки, противоправный способ возвращения в книжный рай уже не устраивает. От «липовой справки, что он умный», предложенной чертями, Иван-дурак отказывается. Но, в конце концов, всё опять же сводится к краже — Иван самочинно завладевает печатью Мудреца и собирается сам выдавать справки, притом «всем подряд». Однако к легитимации его положения среди обитающих на библиотечных полках героев русской классической литературы это так и не приводит.

Шукшин вплоть до последних лет жизни мучительно рефлексировал по поводу пробелов в своем образовании. В беседе с корреспондентом «Литературной газеты» Г. Цитриняком в 1974 году он довольно откровенно высказался на болезненную для себя тему: «Я слишком поздно пришел в институт — в 25 лет, — и начитанность моя была относительная, и знания мои были относительные. Мне было трудно учиться. Чрезвычайно. Знаний я набирался отрывисто и как-то с пропусками».

Свою начитанность Шукшин явно преуменьшил, а вот головы его персонажей действительно полны отрывочными и бесполезными знаниями, причем нередко полученными из украденных книг.

Галерею похитителей книг в художественном мире Шукшина открывает Пашка Колокольников — герой киноповести/фильма «Живет такой парень» (1964). Несмотря на постоянные любовные неудачи, Пашка считает себя знатоком женщин, и в эпизоде сватовства даже собирается прочитать Кондрату лекцию о женском вопросе: «Я женский вопрос специально изучал, если хочешь знать. Когда в армии возил генерала, я спер у него из библиотеки книгу «Мужчина и женщина». И там есть целая глава: «Отношения полов среди отдельных наций». И там написано, что даже индусы, например...» Знания об индусских брачных

церемониях, позаимствованные из дореволюционной немецкой энциклопедии «Мужчина и женщина: их взаимные отношения и положение, занимаемое ими в современной культурной жизни» (СПб., 1911), разумеется, так же мало могут пригодиться Пашке в ухаживаниях за реальными женщинами, как труды академика Лысенко Ваньке Попову в освоении школьной программы.

Замыкают шукшинскую галерею книжных воров настоящие преступники-рецидивисты из киноповестей/фильмов «Печки-лавочки» (1972) и «Калина красная» (1974). Конечно, не за книгами охотится вор, представившийся попутчикам «железнодорожным конструктором с авиационным уклоном». Более того, он радуется, когда в очередном украденном чемодане не оказывается книг: «Конструктор с чрезвычайным любопытством рылся в чемодане, отвечал на вопросы нехотя.

— Я устал от вопросов... Ага — коньячишко!.. КВК. Прекрасно. А тут что?.. Купюры. О, мне эти интеллигенты: кто же деньги кладет в чемодан! — Конструктор переложил деньги из чемодана в карман. — Что-то я не вижу здесь литературы. Обычно этого... Мда». При этом вор, как выясняется, обладает недюжинной эрудицией. За время очень короткого общения с Иваном Расторгуевым он успевает упомянуть Гегеля и процитировать Маяковского («Разговор с фининспектором о поэзии») и Блока («На поле Куликовом»):

«Это какой-то Гегель получается...»;

«Конструктор чего-то вдруг взгрустнул.

— Настоящей творческой работы мало. Так — мелочишка суффиксов и флексий... устаю»;

«Конструктор закурил сигарету с золотым обрезаем — тоже из чемодана, вытянул ноги, чуть прикрыл глаза.

— Покой нам только снится, — сказал он негромко».

Нетрудно догадаться, что свои отрывочные знания вор-эрудит черпает из украденных заодно с ценными вещами книг.

Еще более неуместно демонстрирует свою начитанность другой вор-рецидивист — Егор Прокудин («Калина красная»), цитируя после неудачной попытки проникновения в комнату Любы Байкаловой Георга Кристофа Лихтенберга.

«И вдруг Егор громко, отчетливо, остервенело процитировал:
— Ее нижняя юбка была в широкую красную и синюю полосу и казалась сделанной из театрального занавеса. Я бы много дал, чтобы занять первое место, но спектакль не состоялся. — Пауза. И потом в тишину из-за занавески полетело еще — последнее, ученое: — Лихтенберг! Афоризмы!

Старик перестал храпеть и спросил встревоженно:

— Кто? Чего вы?

— Да вон... ругается лежит, — сказала старуха недовольно. — Первое место не занял, вишь.

— Это не я ругаюсь, — пояснил Егор, — а Лихтенберг.

— Я вот поругаюсь, — проворчал старик. — Чего ты там?

— Это не я! — раздраженно воскликнул Егор. — Так сказал Лихтенберг. И он вовсе не ругается, он острит».

Вероятно, и здесь источник знаний тот же, что и в предыдущем случае.

Шукшин не случайно так и не написал новеллу о малолетнем хулигане, удивительным образом преобразившемся после прочтения совершенно непонятой им книги. Судьбу выстраивает далеко не всякая книга. В одном из последних интервью Шукшин настойчиво призывает своих читателей: «...будьте осторожны, только точнее выбирайте, только точнее находите умную книгу, точнее распознавайте настоящих людей, не ошибайтесь, реже ошибайтесь...»



Дмитрий Марьин

Родился в 1976 году в Барнауле. Окончил факультет филологии и журналистики Алтайского государственного университета. Кандидат филологических наук, доцент. Автор более 150 научных работ, в т. ч. 4 монографий. Публиковался в журналах «Литературная учеба», «Сибирские огни», «Алтай», «День и ночь», «Огни Кузбасса», «Бийский вестник», «Культура Алтайского края». Живет в Барнауле.

ШУКШИН ПОД МАСКОЙ

Имя Василия Макаровича Шукшина не встречается в «Словаре псевдонимов русских писателей». Ни одно из его знаковых, «культовых» произведений не написано под псевдонимом. Однако это утверждение, как оказывается, верно лишь отчасти.

Есть в литературоведении и текстологии понятие «Dubia». Так принято обозначать раздел в собрании сочинений, в который помещают произведения, чья принадлежность перу данного автора ставится под сомнение, или сами подобные произведения. Прямого подтверждения авторства в этом случае нет, исследователь лишь на основании косвенных свидетельств, но, тем не менее, с большой долей вероятности может предположить происхождение текстов. Иначе dubia — это некоторая совокупность текстов, прямых доказательств принадлежности которых данному автору исследователями **п о к а** не найдено. Но надежда всегда есть! Они могут быть обнаружены в будущем: при открытии неизвестных ранее авторизованных вариантов дубиального текста,

обнародовании писем, дневников, записных книжек писателя, воспоминаний современников, в которых могут содержаться однозначные указания на принадлежность текста. Известный автор может опубликовать свое произведение под псевдонимом по той или иной причине, некоторые тексты могут как при жизни, так и после смерти автора быть приписываемы ему молвой: так было с эпиграммами А.С. Пушкина, некоторыми стихотворениями Н.А. Некрасова, статьями А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского.

Раздел «Dubia» обычно включается в издания академического или приближающегося к нему типа и свидетельствует об уже сложившейся традиции, о существовании многолетней истории изучения творчества писателя, известной полноте корпуса его произведений, большом значении личности литератора и его творческого наследия для истории национальной литературы и культуры. Dubia могут быть одним из важных источников изучения литературного творчества писателя и его биографии, служат цели реконструкции всего объема текстов писателя, помогают лучше представить вектор творческой эволюции, особенности поэтики, стиля, языка его произведений.

До недавнего времени в творческом наследии Василия Макаровича Шукшина дубиальные тексты не отмечались. Наверное, до поры до времени в этом не было исследовательской необходимости: сначала шукшиноведы ставили перед собой задачу собрать корпус художественных текстов, затем — нехудожественных — писем, рабочих записей, черновики, документов и т.п. Параллельно шли описание и литературоведческий анализ этих текстов, общая реконструкция биографии писателя. Впервые раздел «Dubia» в собрании сочинений В.М. Шукшина появился лишь в 2014 году, в последнем томе новейшего и самого полного на сегодня собрания сочинений писателя в 9 томах, подготовленного коллективом филологов Алтайского государственного университета при финансовой и организационной поддержке Правительства Алтайского края. Девятитомник стал новой вехой в изучении и описании творческого наследия Шукшина, а потому раздел «Dubia» здесь более чем уместен.

Следует признать, что пока набор шукшинских dubia предельно мал: одна заметка из сростинской районной газеты «Боевой

клик» от 14 марта 1954 г. под названием «Концерт для избирателей». Правда, есть основания предполагать, что некоторые из ранних публикаций В. М. Шукшина — статьи или фельетоны в газете «Боевой клич» — подписаны псевдонимом, поэтому раздел имеет шансы расшириться со временем за счет еще нескольких текстов, в случае обнаружения более веских свидетельств в пользу авторства Шукшина.

Итак, что же это за потенциально шукшинский текст? Перед нами заметка под названием «Концерт для избирателей», опубликованная в номере газеты «Боевой клич» от 14 марта 1954 г. за подписью «М. Куксина», но, скорее всего, за этим псевдонимом скрылся сам В. М. Шукшин. Заметка сообщает о прошедшей постановке силами учащихся Сростинской средней школы пьесы «Капитан в отставке». Пьеса известного советского драматурга А. Д. Симукова (1904–1995) «Солнечный дом, или Капитан в отставке» (1947), написанная в жанре водевиля и продолжившая традиции русской сцены XIX века, была очень популярна в 1950 годах. Сама заметка имеет небольшой размер, поэтому позволим себе привести здесь ее текст полностью (абзацное членение сохраняется):

Концерт для избирателей

Недавно силами учащихся Сростинской средней школы был дан концерт для избирателей с. Сросток. В программу концерта входила пьеса «Капитан в отставке».

Зрители с захватывающим интересом следили за развитием действия пьесы, глубоко переживали удачу и неудачи действующих лиц, совершенно забыв о том, что на сцене всего лишь только школьники, а не профессионалы-артисты.

С интересом были прослушаны вокальные выступления исполнителей-школьников. Благодаря хорошей организации концерт прошел увлекательно и интересно.

Хочется пожелать драматическому коллективу школы и его руководителю тов. Чекушкину Степану Мартыновичу дальнейших творческих удач.

Каковы же аргументы, которые позволяют считать автором текста В. М. Шукшина?

Подпись «М. Кукукина» с большой долей вероятности следует считать псевдонимом автора заметки, а не его настоящим именем. Мария Сергеевна Кукукина (1909–1979) – мать В. М. Шукшина, будучи малограмотной, не могла быть автором этого текста. Сравнение текста заметки с известными текстами, принадлежавшими М. С. Кукукиной (например, ее письмами или «рассказами», написанными ею уже после смерти сына), свидетельствует о радикальных различиях в языке и стиле. Заметим, что среди сотрудников газеты была некто И. Кукукина, «специализировавшаяся» на экономических и производственных материалах, да фамилия Кукукиных вообще частотна в Сростках.

Зачем Василию Шукшину понадобилась маска? Скорее всего, затем, что он в это время (в 1953–1954 гг.) работал учителем Сростинской школы сельской молодежи, одновременно исполняя обязанности ее директора, а также являлся секретарем школьной комсомольской учительской организации. Возможно, он посчитал некорректным ставить свое имя под заметкой с благожелательным отзывом о выступлении творческого коллектива учреждения, в котором сам работал.

Вероятность использования Шукшиным псевдонима подтверждается некоторыми фактами его сотрудничества с газетой «Боевой клич». История эта до сих пор имеет ряд непроясненных вопросов. Достоверно известно, что будущий писатель опубликовал в сростинской газете две свои статьи: «Учиться никогда не поздно» (11 октября 1953 г.) и «Больше внимания учащимся вечерних школ» (10 декабря 1953 г.). Но, вероятно, сотрудничество В. М. Шукшина с газетой «Боевой клич» было более продуктивным, нежели публикация известных нам на сегодня двух статей. В частности, бывший редактор газеты М. Г. Гапов (1923–1989) вспоминал: «Его (т. е. В. М. Шукшина — Д. М.) материалы были наиболее грамотно в литературном отношении построены. Править его почти не приходилось. Если все же надо было, согласовывали с ним, он не обижался. Часто заходил он на огонек в редакцию. И обязательно приносил материал. Скромно говорил: «Может быть, найдете местечко и поставите мою заметку». Давали мы ему задания, он выполнял их аккуратно. Увлекался он больше фельетонами, которые подписывал псевдофамилией — Ванька Мазаев (NB! — Д. М.).

Отличался беспощадностью к недостаткам. Иногда замахивался даже на работников райкома партии»¹.

Тщательное изучение подшивки газеты «Боевой клич» за 1953-1954 годы (годы пребывания Шукшина в Сростках после службы в ВМФ и до отъезда на учебу во ВГИК) показало, что именем «Ванька Мазаев» никто материалы не подписывал. Встречается подпись «И. Мазаев», но она принадлежала реальному лицу. Мазаев Иван Григорьевич (1929-?) — друг детства В. М. Шукшина, в 1953 г. — заведующий Сростинской избой-читальней, позже — секретарь Сростинской территориальной комсомольской организации². Именно И. Г. Мазаев дал рекомендацию (одну из двух) В. М. Шукшину при принятии его в члены ВЛКСМ 13 апреля 1953 года. Более того, первая публикация И. Г. Мазаева в газете «Боевой клич» зафиксирована 21 августа 1952 г., т. е. когда В. М. Шукшин еще проходил срочную службу, а последняя датирована 25 ноября 1954 г. — в это время Шукшин уже находился в Москве, будучи студентом ВГИКа. Кроме того, из 12 публикаций Мазаева только 2 — фельетоны, что явно противоречит фразе М. Г. Гапова «увлекался он больше фельетонами». Таким образом, версия о том, что Шукшин мог печатать свои статьи под именем И. Мазаева — маловероятна, а слова М. Г. Гапова пока не получили подтверждения. Однако воспоминания редактора газеты «Боевой клич» оставляют надежду на обнаружение новых шукшинских dubia, написанных под другим псевдонимом или анонимно.

Например, в сферу потенциальных dubia Шукшина попадает статья неизвестного автора (не указан) под названием «Пламенный советский патриот», опубликованная в газете «Боевой клич» (19 июля 1953 г.) и посвященная В. В. Маяковскому (обратите внимание: вышла в день рождения поэта!). Выбор темы объясним: в 1953 г. в СССР широко отпраздновали 60-летний юбилей Маяковского. Характерно, что одним из вступительных испытаний

¹ Он похож на свою родину: земляки о Шукшине / вступит. ст. Ю. Г. Егорова. Бийск: Издательский дом «Бия», 2009. С. 95.

² И. Г. Мазаев упоминается в шукшинском наброске «Далекие вечера» неопубликованного цикла «Выдуманные рассказы».

В. М. Шукшина во ВГИКе летом 1954 г. стало сочинение по литературе на тему «В. В. Маяковский о роли поэта и поэзии», с которым Василий справился на «хорошо»³. Увы, с лингвистической точки зрения общего между статьей и вгиковским сочинением Шукшина, кроме цитирования слов Сталина, назвавшего Маяковского «лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи», практически нет. Язык статьи изобилует лексическими, фразеологическими, синтаксическими штампами, что свойственно всем ранним работам Шукшина, и сравнение ее с другими текстами этого же периода в плане выявления индивидуальных, характерных для идиостиля писателя черт, ничего не дает. Написана ли статья Шукшиным? Оказала ли она какое-нибудь влияние на будущего студента ВГИКа при написании сочинения? Несомненно лишь то, что В. В. Маяковский — один из любимейших поэтов Шукшина. Впоследствии он неоднократно обращался к произведениям Маяковского, либо прямо их цитируя, либо используя в качестве интертекста. Итак, пока нет достаточных оснований включить статью «Пламенный советский патриот» в корпус дуэциальных текстов Шукшина.

Вернемся к заметке о школьном концерте. Еще одним доводом в пользу авторства Шукшина может быть язык. Язык заметки «Концерт для избирателей» обезличен, изобилует элементами канцелярита, лексическими и фразеологическими штампами советских СМИ («силами учащихся», «с захватывающим интересом», «творческих удач» и т. д.). Это, с одной стороны, мешает его атрибуции, но, с другой стороны, косвенно, свидетельствует в пользу авторства Шукшина: обилие клише характерно и для его двух первых авторизованных, «сростинских», статей «Учиться никогда не поздно» и «Больше внимания учащимся вечерних школ», и для творческих работ, написанных им годом позже при поступлении во ВГИК: режиссерского этюда «Киты, или о том, как мы приобщались к искусству», рецензии «О фильме «Верные друзья»» и уже упоминавшегося нами сочинения

³ Если кто-то считает эту оценку низкой, то отметим, что Андрей Тарковский за это же сочинение получил только «удовлетворительно».

по литературе. Первым шукшинским текстам свойственны нарочитая назидательность, митинговый, пропагандистский стиль, констатация банальных, но идеологически верных положений, обилие готовых лексических и фразеологических штампов. Здесь уж, видимо, сказался большой опыт выступления автора на комсомольских собраниях, участие в агитационных мероприятиях, что не могло не отразиться на стилистике статей.

Вместе с тем в заметке встречаются сразу два излюбленных приема поэтики зрелого Шукшина — градация («Зрители с захватывающим интересом следили за развитием действия пьесы, глубоко переживали <...>») и антитеза («<...>на сцене всего лишь только школьники, а не профессионалы-артисты»), активно используемые им позже не только в художественной прозе, но и в эпистолярной, и в дарственных надписях, и в рабочих записях. Так, например, по нашим подсчетам только в рабочих записях тексты с приемами градации и антитезы занимают 30%. Возьмем лишь самые известные: «Одно дело — летопись, другое дело — «Слово о полку Игореве», «Не старость сама по себе уважается, а прожитая жизнь», «Логика искусства и логика жизни — о, это разные дела», «Я — сын, я — брат, я — отец... Сердце мясом приросло к жизни. Тяжко, больно — уходить», «Где я пишу? В гостиницах. В общежитиях. В больницах». Принимая во внимание небольшой размер текста заметки «Концерт для избирателей», следует признать данные приемы релевантными для констатации большой степени вероятности авторства Шукшина, особенно с учетом общего контекста творчества писателя и характерных особенностей его идиостиля.

Еще один довод в пользу авторства Шукшина связан с темой заметки. «Концерт для избирателей» обнаруживает связь и с первыми газетными публикациями Шукшина, и с его более поздними произведениями. Примечательно то, что именно здесь В.М. Шукшин впервые обращается к теме творчества, искусства, которая станет одной из главных тем его зрелой публицистики. Эта та область человеческой деятельности, которая привлекает будущего писателя, актера и кинорежиссера с детства. Способности к творчеству у Василия проявляются достаточно рано. В четвертом классе он уже пишет короткие стихотворения, регулярно

участвует в школьных спектаклях, любит декламировать стихи со сцены, хорошо играет на гармонии. В 1951 г., когда в клубе военной части, в которой служит В. М. Шукшин, был организован драмкружок, он становится активным участником, а затем и руководителем кружка. Разучивает роль Гамлета. В 1954 г. при поступлении во ВГИК абитуриент с Алтая, как мы уже сказали выше, пишет рецензию на х/ф «Верные друзья» М. Калатозова. В таком контексте заметка о театральной постановке в Сростинской школе выглядит вполне гармонично.

Итак, приписываемая В. М. Шукшину заметка «Концерт для избирателей» обнаруживает общность в языке, приемах поэтики и проблематике с первыми публицистическими выступлениями в печати будущего писателя и кинорежиссера, а также с его творческими работами, написанными при поступлении во ВГИК. Это позволяет с большой вероятностью считать заметку принадлежащей перу Шукшина.

По сути, заметка, написанная под псевдонимом, стала первым шагом Василия Шукшина на пути к созданию зрелых публицистических и художественных произведений. В них уже в полной мере раскроются все те качества, которые в дубиальном тексте лишь намечены, представлены в зачаточном виде. В случае увеличения корпуса дубиальных текстов Шукшина появится дополнительная возможность более глубокого изучения раннего литературного творчества писателя и его истоков, многих фактов биографии до 1954 года. А ведь именно здесь до сих пор таится еще много загадок для исследователей жизни и творчества В. М. Шукшина.

В качестве постскриптума расскажем об еще одном совпадении, затрагивающем, пусть и косвенно, шукшинскую заметку о концерте. Водевиль и оперетта — жанры близкие, часто объединяемые общим термином «музыкальная комедия». Следующей после заметки «Концерт для избирателей» встречей Шукшина с опереттой стал вот такой эпизод в биографии нашего великого земляка. Летом 1957 г., находясь на режиссерской практике на Одесской киностудии, Василий Шукшин был приглашен режиссером Георгием Натансоном на главную роль в художественный фильм «Белая акация» — экранизацию од-

ноименной оперетты И. Дунаевского. «Представляешь себе! — Вася в морской фуражке поет опереточную арию», — писал в письме из Одессы Андрей Тарковский их общему одногруппнику и своему будущему зятю Александру Гордону⁴. Более того, не исключено что Шукшин и сам бы исполнял вокальные партии, т. е. обошелся бы без использования дубляжа в исполнении профессионального певца. Наверное, сегодня и всем нам это представить трудно! Между тем, известно, что Шукшин любил петь и, по отзывам очевидцев, пел хорошо, умел своим пением тронуть сердца слушателей. Главная роль молодого капитана китобойного судна Кости Куприянова была ему по плечу, и, кто знает, как тогда могла бы сложиться кинематографическая карьера Василия Шукшина?

Но судьба распорядилась иначе. Здесь же, в Одессе, неожиданно для всех начинающий кинорежиссер Марлен Хуциев приглашает Шукшина на роль Федора-большого в картину «Дом солдата», которая позже в прокате получит привычное для нас название «Два Федора». Василий оказался в ситуации выбора... И он выбрал работу с Хуциевым! И никогда впоследствии не жалел об этом. Картина тяжело сдавалась, получила изрядную долю критики от высшего партийного руководства УССР, но в итоге имела большой успех у публики и вошла в золотой фонд отечественной кинематографии. Шукшин в фильме выступил не только в роли актера, но и — в полном соответствии с заданием ВГИКа и своей будущей киноспециальностью — в качестве ассистента главного режиссера. Он, как следует из текста отчета по практике, подбирал документальный материал, репетировал мизансцены с актерами, и даже принял участие в переработке одного из эпизодов фильма. Работа на съемочной площадке рядом с Хуциевым дала Шукшину огромный режиссерский и организационный опыт, который впоследствии оказался весьма ценным. А роль Федора-большого принесла ему, тогда еще студенту-третьекурснику ВГИКа, всеобщую известность и сформировала его актерское амплуа —

⁴Гордон А.В. Не утоливший жажды: об Андрее Тарковском. М.: Вагриус, 2007. С. 91.

положительного, простого, немногословного, но харизматичного и решительного мужчины.

А вот судьба натансоновской кинооперетты «Белая акация» была иной. Главную роль капитана гарпунеров Кости Куприянова в итоге сыграл актер Александр Стародуб. Картина без проблем прошла сдачу, но особого внимания зрителей не снискала. Хотя предпосылки к успеху были. Фильм начинается «Песней об Одессе», впоследствии ставшей официальным гимном города-героя. Одну из ролей исполнил Михаил Водяной — через десять лет великолепно сыгравший Папандопуло, адъютанта атамана Грициана, в любимой всеми «Свадьбе в Малиновке». Да и вообще, было что-то такое кинематографически заманчивое в самой идее и сюжете «Белой акации». Ведь недаром одnogруппник Шукшина и Тарковского по ВГИКу известный режиссер Евгений Шерстобитов в 1972 году снимет свой ремейк оперетты под названием «Только ты». Вполне возможно, что если в 1957 году главную роль в кинооперетте «Белая акация» сыграл бы Василий Шукшин, ее история была бы более звездной!

Светлана Кекова



Родилась в городе Александровске-Сахалинском Сахалинской области. Поэт, филолог, автор шестнадцати поэтических сборников и нескольких литературоведческих книг. Стихи переведены на европейские языки. Лауреат многих литературных премий, в том числе Новой Пушкинской премии. Доктор филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Саратовской государственной консерватории. Живет в Саратове.

Руслан Измайлов



Литературовед, автор монографии, посвященной творчеству Иосифа Бродского и четырех сборников статей, два из которых написаны в соавторстве с С. В. Кековой. Член Союза российских писателей. Кандидат филологических наук, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Саратовской государственной консерватории. Живет в Саратове.

БАВИЛОН ИЛИ ИЕРУСАЛИМ?

Историософия «смутного времени» в русской поэзии 1990 годов

Русский православный писатель и публицист Леонид Бородин в своих воспоминаниях «Без выбора» писал: «Слово "смута", строго говоря, политическим термином не является, но в том и видится его преимущество перед прочими политическими характеристиками эпохи, что оно схватывает самую суть случившегося: утрату или растрату народом высшего, надличностного смысла бытия...»¹.

Традиционно «Смутным временем» мы называем время начала XVII века, окончившееся 1613 годом — годом восхождения на престол династии Романовых. «Смутным временем»² назвал митр. Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычѳв) советский период русской истории. «Смутным временем» называют и эпоху, начавшуюся в годы Перестройки и бурно продолжившуюся после развала Советского Союза, к сожалению, не закончившуюся еще и по сей день.

Осмысление происходившего и происходящего, вскрытие истинных причин случившегося, свершающегося и могущего быть в будущем — это задача историософии. Историософия — это анализ, выводы и прогнозы, которые делаются на основе определенных концепций смысла истории. Наиболее распространены формационный (Маркс, Энгельс, Ленин) и цивилизационный (Данилевский, Шпенглер, Тойнби и др.) подходы в историософии. Но методы этих подходов ограничены, т. к. смысл истории отыскивается внутри самой истории. При таких условиях ответы всегда будут неполными.

¹ Бородин Л. Без выбора. Автобиографическое повествование. М.: , 2003. С. 383.

² См Иоанн (Снычѳв), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Русская симфония. СПб., 1998.

Смысл истории должен быть найден не внутри, а вне истории. Такой подход разрабатывает религиозная историософия. В русской мысли православными историософами были К. Н. Леонтьев, Л. Тихомиров, В. С. Соловьёв (в заключительный период жизни и творчества), архим. Константин Зайцев, А. В. Карташов, митр. Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычѳв). Из современных мыслителей можно назвать А. Панарина, А. Солженицына, В. Тростникова и др.

Осмысление исторических событий требует времени. Поэтому события и их осмысление, как правило, разделены десятилетиями и столетиями. Современность и близкое прошлое чаще всего «отданы на откуп» злободневной публицистике, которой не хватает трезвомыслия и духовной зоркости. Но в русской традиции главными мыслителями были русские поэты, которые всецело принимали и осознавали пушкинский завет быть поэтом-пророком, исполнившимся волей Божьей. «Смута» постсоветского периода была осмыслена прежде всего русской поэзией и продолжает осмысляться. Можно было бы уже составить огромный сборник стихотворений, под названием «Строфы «смутного времени»» с подзаголовком «Поэтическая историософия постсоветской эпохи». В этой книге были бы имена и уже ушедших поэтов Николая Тряпкина, Владимира Соколова, Юрия Кузнецова, Татьяны Глушковой, Анатолия Соколова, Сергея Васильева, и ныне живущих Глеба Горбовского, Юнны Мориц, Юрия Кублановского, Олеси Николаевой, Геннадия Красникова, Владимира Берязева, Станислава Минакова, Ирины Евсы, Юрия Кабанкова и многих других. Но пока такого сборника нет. Это дело будущего. Мы же пока коснемся творчества небольшого числа поэтов, чьи произведения стали бы страницами такой книги.

Петербургский поэт Глеб Горбовский, «патриарх» русской поэзии, наделен зрением пророка-поэта. Ему дана поэтическая способность различать духов. Прокомментировав события августа 1991 года шуточной частушкой «Что за странная страна,/Не поймѳшь — какая?/Выпил — власть была одна./Закусил — другая»³, поэт увидел в происходящем не пришествие свободы, а событие иного рода:

³ Горбовский Г. Распутица. СПб., 2008. С. 86

Народ — суров, толпа — спесива...
На площадях вершится труд!
Увы, ни лысый и ни сивый
нас от беды не уведут...

Кумир ли, вождь — исчадь прессы.
Им — возмущать, нам — изнывать...
...Всё это бесы, бесы, бесы! —
на них ли сердцу уповать⁴?!

Снова бесы, одни бесы сменяют других, а «мерзость запустенья на месте святе» продолжается. Образ поруганного храма возникает в стихах Горбовского часто, но внутри зияющей пустоты и черноты все равно остается то, что внушает надежду и спасает от отчаяния. А еще внутри поруганного храма... Россия: «... Снаружи — храм. Хотя и без креста./Внутри — Россия. В ожидании Христа»⁵.

Примечателен этот образ России. Она не храм! (Об этом поэт свидетельствовал еще и в другом стихотворении: «Россия — далеко не храм/и не собор, не кроткая обитель./Она — барак, где вечный тарарам! — и стыд, и срам, разборки в гнусном виде...»⁶). Но она внутри храма, да, поруганного, да, оскверненного, но храма, у невидимого престола которого стоят ангел до скончания времен и сам Христос, ожидающий возвращения блудных детей. В. Бондаренко, размышляя о духовном пути поэта, писал: «Глеб Горбовский приходит к пониманию того, что главная причина народных бед и потерь — в безверии, в потере Христа. Он и себя винит за былую гибельность неверия...»⁷. Поэт с болью возносит свою молитву за Россию, видя, как она погибает в новой смуте:

⁴ Там же. С. 87.

⁵ Там же. С. 261.

⁶ Там же. С. 62

⁷ Бондаренко В. Глеб Горбовский — русский гений. К 85-летию поэта.
http://denlit.ru/index.php?view=articles&articles_id=2024

Во дни печали негасимой,
во дни разбоя и гульбы —
спаси, Господь, мою Россию,
не зачеркни Ея судьбы.

Она оболгана, распята,
разъята... Кружит вороньё.
Она, как мать, не виновата,
Что дети бросили её.

Как церковь в зоне затопленья,
она не тонет — не плывёт —
всё ждёт и ждёт Богоявленья.
А волны бьют уже под свод...⁸

Новая Россия 90-х отнюдь не избавилась от бесовской одержимости. Во второй раз свершился великий обман. Вместо свободы для народа обрели свободу власти от народа.

В Кремле, как прежде, Сатана,
в газетах — байки или басни.
Какая страшная страна!
Хотя и нет её прекрасней...

Как чёрный снег, вокруг Кремля
витают господа удачи.
Какая нищая земля!
Хотя и нет её богаче...

Являли ад — сулили рай,
плевались за её порогом...
Как безнадежен этот край!
Хотя — и не оставлен Богом...⁹

⁸ Горбовский Г. Распутица. СПб., 2008. С. 61.

⁹ Там же. С. 63.

Тютчевская поэтическая историософия очень близка сердцу Глеба Горбовского. Можно сказать, что он является ее законным наследником и продолжателем: «Но измождённый, в жалком рубище, /хоть и незримый из-за слёз, /своей всеблагостью свершает труд ещё /нас не покинувший Христос»¹⁰.

Богом не оставлен наш край, но именно поэтому и попущены нам страдания для очищения, искупления грехов. Беды современной России во многом проистекают из-за нераскаянных грехов, и один из главных — грех цареубийства, о котором свидетельствовал митр. Иоанн (Снычёв): «Преступления против государства и государя признаются ... преступлением религиозным, церковным, направленным против промыслительного устройства земли Русской и достойного самых тяжких духовных кар»¹¹. Философ и публицист М. Назаров в книге «Тайна России» писал: «Кому много дано, с того больше и спрашивается. И тут важно не количество грехов, а то, против какой высокой святости православного призвания был нами допущен грех. Российская трагедия XX в. — плата за отход от замысла Божия о нас как об Удерживающем — и должна была проявиться в безудержном разгуле сил зла... падение богоносного русского народа, отказавшегося от царя, Помазанника Божия, обернулось несением ига антихристовой предтечи — богоборческого большевизма... Между этими координатами — нашего великого избранничества и нашего великого греха — лежит историософское осознание нашей национальной катастрофы»¹².

Глеб Горбовский точно так же осознает наше положение и состояние:

Вот мы Романовых убили.
Вот мы крестьян свели с полей.
Как лошадь загнанная, в мыле,
хрипит Россия наших дней.

¹⁰ Там же. С. 213.

¹¹ Иоанн (Снычёв), митрополит Санкт-Петербургский и Ладоский. Русская симфония. СПб., 1998. С. 201.

¹² Назаров М. Тайна России. М. 1999. С. 525.

«За что-о?! — несётся крик неистов.
— За что нам выпал жребий сей?»
За то, что в грязь, к ногам марксистов
упал царевич Алексей¹³.

И тут же поэт молитвенно просит Бога о том, о чем сейчас еще просить «и бессмыслица, и грех» (Г. Иванов): «Вновь отпылала заря./Смутному голосу внемлю:/ "Боже, верни нам царя,/ выручи Русскую землю!"¹⁴.

Но кровь царя и его семьи, грех цареубийства не только на «красных», но и, в равной степени, на «белых», среди которых монархистов было крайне мало. В основном «белые» были вдохновляемы идеями «февраля», т. е. идеями предателей монархии и царя. Без «февраля» не было бы и «октября»!

Всё началось однажды в феврале.
Предсмертный снег на тротуары падал,
и женщины, бесхлебные, во зле
царю кричали: «Ты — палач и падаль».

А надо было — плакать в феврале
чуть громче и мокрее, чтобы после
не путаться в крови, в дыму, во мгле
и не питаться в масленицу постно...¹⁵

И в том, что свершается в начале 90-х, чему поэт является свидетелем, видится и слышится февральская вьюга 17-го: «И, как в далёком феврале/Семнатцатого, в час расплаты –/молчит над городом Распятый.../Лишь кровь дымится на челе»¹⁶. По прошествии ста лет, к сожалению, точка в гражданской войне не поставлена, и не поставлена она по той причине, что подлинного всенародного

¹³ Горбовский Г. Распутица. СПб., 2008. С. 75.

¹⁴ Там же. С. 76.

¹⁵ Там же. С. 73.

¹⁶ Там же. С. 72.

и государственного покаяния не свершилось. А что касается примирения «белых» и «красных», то Глеб Горбовский в своих стихах дал потрясающий по трагичности и величию образ символа-памятника, который тему примирения, на наш взгляд, исчерпывает до конца:

Когда-нибудь, во времени бесстрастном,
воздвигнут памятник — не белым и не красным,
а просто — гражданам страны,
их крестным мукам,
что воевали, кровные,
друг с другом.

То будет мрамор — не слепой, не плоский,
то будет плоть,
но не Венеры плоть Милосской.
То будет Мать:
фуфайка, плат, кофтёнка,
два бездыханных — на руках — ребёнка¹⁷.

Но памятник такой еще не поставлен. Гражданская смута, а значит и война еще не окончены. Пока мы все еще задаем вопрос: «За что?!»:

Казалось бы, столько терпела,
кровавилась, мыкалась Русь...
За что нам такое? За дело:
за нашу вселенскую грусть...
За голос унылый и пьяный,
за наш «в Богородицу» мат,
за каждый денёк окаянный!..

...А ночь прошил автомат!¹⁸

¹⁷ Там же. С. 81.

¹⁸ Там же. С. 90.

Кромешная ночь коммунистического безбожия сменилась кромешной ночью либерал-бандитизма. Но не автоматная очередь в ночи, а иное действие является главным в бытии и жизни России. Русь жива молитвами праведников, исповедников и новомучеников. Свет их молитв позволяет нам пережить эту кромешную ночь. Глеб Горбовский пишет удивительное стихотворение, тихое, негромкое и от этого очень пронзительное, в котором говорится об этом главном действе. Горбовский вообще удивительный мастер такой поэзии. Простыми, можно сказать даже скупыми средствами он способен передать высшую правду, сокровенную тайну мира и человека:

Не комедия, не драма —
просто ночью иногда
заколоченного храма
скрипнут ржавые ворота...
Свет лампад сочится в щели,
хор: «Спаси и сохрани...»
И выходит в мир священник,
убиенный в оны дни.
Крестным знаменем широким
осенит поля с холма
и блуждает, одинокий,
словно выжил из ума.
Архаичен в мире новом,
глядит в сторону небес —
и на храме безголовом
воссияет звёздный крест.
Поп идёт легко и прямо,
словно видит Божьи сны...
Не комедия, не драма,
просто — ночь. Моей страны...¹⁹

¹⁹ Горбовский Г.

<https://allpoetry.ru/stih/ne-komediya-ne-drama/gorbovskii-g-ya>

В 2004 году поэт и критик Геннадий Красников в статье «Колера морбус» писал: «Минувшее двадцатилетие оставило после себя доселе неведомое миру бесславное историческое пространство с миллионами крестов над бедными холмиками отчей земли. Не васнецовское ратное поле «После побоища», где лежат русские богатыри, павшие в открытой схватке с врагом явным, видимым, но безобразное страшное поле, засасывающее человеческие жизни в бессмысленную пустоту «несбывшегося», в большинстве своем жизни самых обездоленных, самых незащищенных людей, среди которых старики и старухи, больные и просто сломавшиеся от безысходности «лишние люди»... Этот беспрерывно пополняющийся мартиролог когда-нибудь будет поименно предъявлен на последнем суде всем тем, кто в очередной раз с дьявольским большевистским упоением, под неутомимое остроумие мастаков веселого жанра устроил новую русскую Голгофу...»²⁰ В этом же году из-под его пера рождаются следующие строчки:

Земную жизнь пройдя до половины,
я оказался... неизвестно где.
Вокруг меня былой страны руины,
чужая речь, чужие образины,
где я, как будто пасынок чужбины,
тону в летейской сумрачной воде.²¹

«Чужбина» оказывается не Третьим Римом, не Святой Русью, не Новым Иерусалимом, а Новым Вавилоном, в котором теперь приходится жить и «петь» поэту:

Сволочь всякая на троне и в короне
всё гребет и пересчитывает башли,
словно в зоне, водят нас в одной колонне
на строительство всемирной адской башни!
Ох, и трудно быть поэтом в Вавилоне.

²⁰ Красников Г. Колера морбус // Красников Г. В минуты роковые. М., 2011. С. 260.

²¹ Красников Г. Кто с любовью придёт... М., 2005. С. 24.

Пир веселый правят Бендер с Аль Капоне,
а на свалке, где пируют бомж и птицы,
встретишь с родины ворону... и вороне
будешь рад... И как же тут не прослезиться!..
Ох, и трудно быть поэтом в Вавилоне.²²

Такую же сердечную боль испытывает и такой же тяжкий труд свершает поэт Юрий Кублановский. В своих стихах он дает глубокий духовно-поэтический, историсофский анализ России постсоветской. Вообще, тема Родины, Родной земли, России, Руси — одна из доминантных в поэтическом мире Ю. Кублановского. Это, можно сказать, лейтмотив его творчества, его книг — от первой до последней. Любовь нелицемерная к своему Отечеству засвидетельствована и тем, что Ю. Кублановский первым из писателей-эмигрантов вернулся на родину, как только стало возможно возвращение, чтобы разделить судьбу со своей многострадальной землей:

Под снегом тусклым, скудным
первопрестольный град.
Днём подступившим судным
чреват его распад.
На тёмной отсыревшей
толпе, с рабочих мест
вдруг снявшийся, нездешний
уже заметен крест.²³

Стихи написаны в 1990 году. В этом же году поэт начинает возносить свою молитву за погибающее отечество:

Всеvyšний, прости наши долги.
Прощаем и мы должникам.
— в верховьях отравленной Волги
клубящимся облакам.

²² Там же. С. 19.

²³ Кублановский Ю. В световом году. М., 2003. С. 9.

Скудны по-евангельски брашна
и тленна скудельная нить.
Как стало таинственно, страшно
и, в общем, невесело жить.

Усопшие взяты измором,
кто водкой, кто общей бедой.
Хлам старых венков за забором,
пропитанный снежной водой:
воск роз, посеревший от ветра,
унылый слежавшийся сор
— как будто распахнуты недра
отечества всем на позор.²⁴

Образы умирающей и даже уже умершей России в стихах Ю. Кублановского встречаются неоднократно. То, что уходит в прошлое, исчезает тяжелое наследие советского периода, сожаления не вызывает у поэта, но находясь «в гаснущей ойкумене/гибнущего совдепа»²⁵, он видит дальнейшую перспективу: «...перед вторым потоком/ныне жезлом железным/чую, гонимы скопом/в новый эон над бездной»²⁶. И уже слышится страшное карканье воронья: «И с веток снесённое/хрипло/шумит вразной воронье:/погибла Россия, погибла./А всё остальное — враньё»²⁷. А вот уже не воронье, а сам автор робко и скорбно произносит: «И сразу же стал на догадку скупее:/сродни ли — сказать не берусь — /неровно мерцающей Кассиопее/покойная матушка Русь»²⁸. Здесь образ многозначен. Это и подъем в небеса, к звездам — вознесение души покойной Руси. Образ трагичный, но светлый. Но возможно и иное понимание. Как неровный мерцающий свет звезд

²⁴ Там же. С. 13.

²⁵ Там же. С. 23

²⁶ Там же. С. 24

²⁷ Там же. С. 89.

²⁸ Там же. С. 213.

на небе не освещает и не греет земли, так теперь и Россия, хотя и видна еще, но уже не освещает и не греет.

Автор-герой живет «в пору богомерзкую, ближе к умира-нию», и «в целом тишина окрест прямо погребальная, / в общем идеальная пожива для молвы. / Только где-то слышится перестрелка дальняя / кем-то потревоженной солнцевской братвы»²⁹. Конкретная примета места и времени — «солнцевская братва», хотя порой и не ясно, «...где — в банановой республике / или в империи, как прежде?»³⁰, находится герой, вопрошающий сам себя, но ясно, что «... на родине Авеля / снова убитого мы»³¹ и что «... в нашем отечестве тварном / всё криминогеннее ад»³². «Братва» — и не только солнцевская — чувствует себя как рыба в воде в «гражданской смуте бесноватой»³³, которую сами и учинили, перекрасив «русский барак — в бардак»³⁴. Родину распяли и делят ее ризы: «Наши ли мужики, / пьяные черемисы, / псы ли в блевотине / не поделили ризы / распятой родины»³⁵.

А вообще-то, официально все это называется временем обречения демократии. Ю. Кублановский, как летописец, дает точный портрет этого времени — середины 90-х:

В столичных шалманах времён демократии
гужется много сомнительной братии,
чьё рыльце в пушку и в кармане зелёные.
Но прочих нелепее мы — опалённые
своими надеждами, будто конфорками
тех кухонь, куда пробирались задворками.

²⁹ Там же. С. 144.

³⁰ Там же. С. 107.

³¹ Там же. С. 75.

³² Там же. С. 21.

³³ Там же. С. 25.

³⁴ Там же. С. 73.

³⁵ Там же. С. 72.

Над хвоей куничьей с алмазною крупкою,
где Коба, зверея, попыхивал трубкою
и где величаво при всем слабоумии
по праздникам гыкали-квакали мумии.
Днесь слишком заметно мельканье бесстыжего
под прежними звёздами Толика рыжего,
с которым грозит нам за годы немногие
стать новым открытием в антропологии.
В своих новоделах развесив теперича
убойные ряшки Петра Алексеича,
Россия ложится, и флот заодно,
вся запеленгованная — на дно.³⁶

В России произошла реализация народной поговорки:
«За что боролись — на то и напоролись». Ю. Кублановский
как никто другой осознаёт такое положение вещей:

Мотыльки, летевшие на свечу,
обожглись, запутались, напоролись.
Вот и нам сегодня не по плечу
рядовой вопросец «за что боролись?»
Я и сам когда-то бежал — на круг
возвратясь, едва занялась полоска.
Но нашёл Россию в руках хапуг
и непросыхавшего отморозка.³⁷

Но что удивительно: от совершенно безрадостной, можно ска-
зать, от безысходной картины в целом не возникает чувства пол-
ного отчаяния. Что-то удерживает от него. Что-то и Кто-то... Есть
свет, и тьма не объяла его. Поэт знает и чувствует сродненность
со своей землей не только по крови — нет, есть более крепкая
связь, так как она высшая и проистекает она как раз из Источни-
ка света: «с землёй обескровленной нашей/со льдом иссякающих

³⁶ Там же. С. 105.

³⁷ Там же. С. 262.

рек/мы связаны общею чашей/и общей просфорой на век»³⁸. Благословенна русская земля, святая земля, потому что (снова вспомним Ф. Тютчева) ее всю «Царь Небесный исходил благословляя». Горний свет Царя Небесного освещает и согревает сокровенную сердца Россию:

...Когда в приделе полутёмном
вдруг поднял батюшка седой
казавшееся неподъёмным
Евангелie над головой,
мне вдруг припомнился витии
ядоточивого навет:
заёмный, мол, из Византии
фаворский ваш и горний свет.
Пока, однако, клён и ясень
пылают тут со всех сторон
в соседстве сосен,
источник ясен,
откуда он.³⁹

А посему, поэт предлагает нам простую и в то же время сложную программу-минимум и она же максимум: «Хорошие логопеды/должны языки нам вправить,/чтоб стало, зашив торпеды,/чем русского Бога славить»⁴⁰.

М. Назаров в книге «Тайна России» писал: «В XX веке Россия распята, но не побеждена духовно. Русский народ с безмерным терпением перенес от мира такие испытания, какие ни один европейский народ не выдержал бы. ... После векового атеизма эти страдания и терпение, конечно, далеко не всеми осознаются религиозно, но совесть и обычаи народа все же во многом сохранили христианскую основу»⁴¹. Русский народ, родившийся

³⁸ Там же. С. 15.

³⁹ Там же. С. 256.

⁴⁰ Там же. С. 206.

⁴¹ Назаров М. Тайна России. М., 1999. С. 551.

в крещальной купели, русское сознание, сформированное православной верой, оказались способны «перемолоть», превратить любое иноприродное явление, навязанное чуждыми русскому духу деятелями. По крайней мере, так было до сегодняшнего дня. Что будет дальше, кто победит: Новый Иерусалим или Новый Вавилон, зависит от промысла Божьего и от нашей готовности его исполнить.



Наталья Завгородняя

Родилась в 1970 году в Барнауле. Окончила филологический факультет Барнаульского государственного педагогического университета. Доцент кафедры литературы АлтГПУ. Основные научные и читательские интересы связаны с проблемами поэтики современной прозы и поэзии. Живет в Барнауле.

СЮЖЕТ ГОРОДСКОЙ ОХОТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АНДРЕЯ КОРОБЕЙЩИКОВА

*Я начал адаптировать практики шаманов
к условиям современного городского жителя.*

А. В. Коробейщиков, «Городской охотник»

*Охотник внимательно смотрит по сторонам
и прислушивается к своим чувствам.*

А. В. Коробейщиков, «Тай-Шин»

Андрей Коробейщиков пишет, издается, публикуется, проводит авторские тренинги и осуществляет экспедиции ЭКЗО-Т с начала нулевых годов. В алтайском литературоведении неоднократно обсуждались проблемы авторской стратегии и геопэтики Коробейщикова (в том числе и нами — Н. З.). Главный вектор, объединяющий исследования, — мифотворческий.

Создавая персональный «миф об Алтае», автор книг-мистерий «ИТУ-ТАЙ», «Камкурт», «Проводник», «Метанойя» и других осуществляет в большей или меньшей степени реинтерпретацию «охотничьей философии», идеология и сюжетология которой составляет, на наш взгляд, архетипически инвариантную базу писательского и биографического мифотворчества А. В. Коробейщикова, равно как и отличает алтайского писателя от всей «посткастанедовской» традиции (до «их» Д. Милмена «Мирного воина» и «нашего» В. Серкина «Хохота шамана» и «Звезд шамана»).

В книге «Торанг» (2011) читатель обнаруживает легенду об охотниках-шаманах, издревле охраняющих Алтай, чья философия жизни и реконструируется героем-рассказчиком, выбравшим вернуться в город и «применить» в социуме полученные у таинственных мастеров-«тайшинов» знания и опыт. Легенда завершается так: «Два рода шаманов, один из которых соотносился с наследниками Светлой Расы, а другой — с Сумеречным народом, объединились, чтобы сохранить бодрость духа во время разгула Тьмы на планете. Они назвали себя ТАЙ-ШИН — «Свободные Волки», исконные противники нечисти и охотники в таежных сумерках... Тайшины смогли сохранить внутреннее намерение деревянного оружия (торанга — Н. З.), которое перекликается с постулатами охотников-шаманов: «Цель охотника не обязательно жизнь другого существа. Если есть возможность избежать крови, Охотник будет добывать то, что дает Земля и Лес».

Автор бережно-охотничьей стратегии жизни современного городского человека не устает напоминать своему читателю о том, что понятие об «удачной охоте» у современников далеко от глубокой мистерии охотников-шаманов, для них «Охота — это прежде всего взаимодействие с Великим Духом», в процессе которого раскрываются истинные отношения зверя и человека, — «Тропа Жизни, где воплощенные сущности преподносят друг другу Дары».

Охотничья этика, к основам которой обращают неомифологические истории А. Коробейщикова, свидетельствует о незыблемых правилах, проявляющих отношение к охоте: «Лесные Странники берут всегда ровно столько, сколько необходимо... Дух Леса не пошлет никого из своих клыкастых и ядовитых посыльных,

чтобы забрать жизнь охотника раньше времени, потому что между человеком и Лесом существует невидимое равновесие, которое необходимо соблюдать».

В атрибуции «охотничьего сюжета» предметно-вещный символизм приобретает особое значение и деревянный «торанг», обладающий внешним и внутренним потенциалом силы тотема, проявляет его ритуальный характер: через него легендарные герои-охотники взывают к своим Хранителям и просят удачи на Охоте, а после через него же благодарят за удачную охоту. Претекстом к охотничьим сюжетам А. Коробейщикова неизменно становится некая «Зеленая Книга Охотника», в которой в частности сказано, что «настоящее оружие не создано для чужих глаз. Оно должно быть на виду, но не бросаться в глаза... Оружие, про которое знают все, рано или поздно попросит крови. Оружие, про которое не знает никто, может стать чем-то другим».

Так, в концепции городской охоты проявляется одной из составляющих применение «предметов Силы».

Однако отметим, что «местом Силы» и «охотничьими угодами» становится для героя романов А. Коробейщикова именно город. Герой романа «Х» (2009) воссоздает в своем сознании ощущение двух городов-антиподов: «Москва. Гул метрополитена под землей. Призрачное мерцание компьютеров в офисах... Мрачное низкое небо, нависшее плотным пологом над головами поздних прохожих. Ощущение тяжести клинка, вибрирующего в ножнах, словно уговаривающего своего хозяина выпустить его на свободу... Барнаул. Ветхие дома старых кварталов, окутанные дымом костров на обочине дорог. Далекий лай собак... гул колоколов в церквях... Город на грани яви и сновидений». Старый Барнаул — частое место персональной охоты героев романов А. Коробейщикова. Имя города, переводимое как «Волчья Река», запускает в сознании героя романа «Пустень» цепную реакцию видений-ощущений: «Максим, внимательно смотревший на окружающие дома и деревья, вдруг понял, что они уже были здесь сегодня, и причем не один раз. Данилыч словно водил их по кругу... Максим расфокусировал взгляд и стал, не торопясь,

изучать окружающий их город...у него не было ощущения, что он находится в сновидении. Мир вокруг не был зыбким, текучим. Значит, основной «переход» еще впереди».

— «Что это было?

— «Другой» Барнаул...Кто-то назвал бы его «эфирным»...

— А почему такое смешение стилей? Деревянные дома с резными узорами, похожие на славянские избы, и алтайские айлы одновременно?

Данилыч поднял вверх руку с отставленным указательным пальцем.

— Вот! Это и есть переходный момент, осознав который ты сможешь собрать все дремлющие во времени части самого себя, соединить их воедино, проследить свою связь с этим местом, этим городом...»

Важно, что основной охотой для чуткого к мистериальному смыслу и замыслу героя становится он сам. Его внутреннее пространство, его сны и мысли. По Коробейщику, человека, который вознамерился вернуть себе «равновесие» и называют в традиции «тайшин» (воином-охотником) и «аши» (воином-ребенком), который может позволить себе не бояться окружающего мира, потому что «война уже закончилась». Эта — главная — охота названа в «Городском охотнике» Охотой на Лики. Эпиграфом к одноименной главе не случайно приводится цитата из «Воина Света» П. Коэльо об осмысленном и внимательном совершении всего того, что мы делаем бессознательно: «дышать, моргать, замечать окружающее».

Нетипичное состояние ума «охотника» (сегодня мы бы сказали — состояние фиксации внимания на «здесь и сейчас») видится автору необходимым условием удачной охоты. Кажется, принципиально в идейно-методологическом и структурно-семиотическом аспектах здесь А. Коробейщиков не расходится с современной психологической наукой, утверждающей, что это не мы, а наш мозг играет в социальные игры, он, а не мы, выстраивает отношения с другими людьми. «Нам кажется, что это наша игра. А на самом деле это игра с нами, и мы сами — плод этой игры».

Книга «Торанг», напомним, не художественная, как большинство произведений А. Коробейщикова, она скорее — «инструкция пользователю» торанга. В связи с чем и авторский нарратив охоты смещен в пространство психофизиологии, а тело городского охотника, состоящее из «воспринимающей материи», само вырабатывает «язык», с помощью которого охотник улавливает «тончайшие вибрации окружающего пространства и переводит их в материальную информацию».

Этот способ контакта с Городом в «инструкции» для городского охотника назван «методом сенсорного осознания», а конкретные приемы и методики («Внутренний Свет», «Лапа Волка» и другие) составляют содержание книги А. Коробейщикова «Городской охотник. Внутренняя сила и интуиция», вышедшей в 2004 году в Барнауле. За 15 лет до того, как интерес к этой теме проявился в массовой культуре и литературе, Андрей Коробейщиков, выстраивая концепцию городской охоты, пишет в главе «Война» о «вирте» как основном способе нашего взаимодействия с миром, ставя под сомнение саму реальность его существования: «Но так как этот мир стал постоянным местом нашего обитания, и нам пришлось находиться в нем постоянно, то наше сознание, несмотря на все наши старания вытеснить окружающий мир в подсознание, придумало его альтернативу. Оно создало обширное виртуальное пространство, куда сместило фокус нашего осознания. Так мы закрылись от окружающего мира в прочных стенах виртуального кинотеатра, где непрестанно стали сами себе прокручивать увлекательные видеофильмы... Не успев родиться, мы стали виртуальными существами, прячущимися от мира». К слову заметим, что кинопоэтика А. Коробейщикова — отдельная тема для исследования, учитывая тот факт, что тексты его романов буквально «просятся» быть экранизированными, остается удивляться, что до сих пор этого не произошло. Впрочем «игра» (ритуальность, театрализация, телесность) в художественном мире и авторском мифе А. Коробейщикова противопоставлена «кино-вирту» (страху смерти, суррогатам социальности, фильмам и ловушкам ума). «Тело» в поэтике А. Коробейщикова — антология смысла. Его герои учатся воспринимать любую информацию на уровне ощущений, извлекая из этого необходимые

знания и силу. Другими словами, в условиях городской охоты любая информация должна ощущаться нами физически. А это возможно, когда человек находится «в равновесии Иту и Тай», о чем и свидетельствует герой-тайшин Иту-Тай мастер Айрук: «ИТУ-ТАЙ невозможно обучаться или обучать ему. Эти силы должны сами выйти на поверхность нашего сознания. Нам нужно лишь научиться не препятствовать им».

«Иту» — метафорический паттерн, восходящий в мифопоэтике А. Коробейщикова к «Телу Зверя»; «Тай» — к «Телу Шамана». Равновесие обоих «тел» делает героя свободным, уподобляя его крылатому Грифону или Дракону (один из переводов «дракона» — «видящий»). А. Коробейщиков напоминает, что на Алтае и в Сибири образ дракона пересекся с образом крылатого Волка в древнеалтайской и праславянской мифологиях, а также — с образом Грифона в скифской мифологической традиции.

К «местам Силы» и «предметам Силы» городской охотник А. Коробейщикова прибавляет «танец Силы», танец свободы — некое действие-состояние, которое может быть метафорической аналогией поведения «проснувшегося» охотника (на языке автора — «вернувшего себе альфа-ритм»): «Древние шаманы считали, что тело желает жить, и поэтому оно стремится испытывать этот мир, пропуская его через себя. Выбрав суррогатную жизнь в виртуальном пространстве, человечество запретило телу получать то, что ему необходимо, и поэтому рано или поздно тело разрывает свои собственные границы, пытаясь слиться с окружающим величием, разрушая стены нашего виртуального кинотеатра».



Михаил Гундарин

Родился в 1968 году в Дзержинске Горьковской области, на Алтае живет с 1975 года. Окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. Кандидат философских наук, член Союза российских писателей. Автор нескольких книг стихов и прозы. В «Алтае» печатается с 1989 года.

ГИГИЕНИЧНАЯ ПРОЗА

*Александр Стесин. Нью-йоркский обход. М.,
Новое литературное обозрение, 2019.*

Книга Александра Стесина в этом году получила премию НОС. Стесин — ему за 40 — практикующий нью-йоркский онколог. В Америке живет с 11 лет. Пишет по-русски. У него уже выходили книги прозы и стихов, причем с предисловием, например, Сергея Гандлевского. Так что он не новичок. Но успех «Обхода» не очень понятен — хотя по-своему и закономерен.

Это такая аккуратная, я бы сказал, стерильная проза. Романом, как это делает автор, назвать «Обход» можно лишь условно. Пара дюжин небольших историй, собранных в главы с названиями районов Нью-Йорка (а также Индии, видимо, для объема). В этих районах располагались больницы, где работал герой-рассказчик. Одна глава состоит из стихов а-ля упомянутый Гандлевский. По Индии он просто путешествует и рассуждает об увиденном.

Вообще, порассуждать автор любит. Предаётся этому занятию при каждом удобном случае. Но как необязателен сюжет и герои — ещё у одного новая опухоль, ещё одному жить осталось неделю, что ж, грустно, но бывает, — так же легки и необязательны рассуждения. Перед нами своего рода набор авторских колонок для интеллигентного издания. Героя-рассказчика при этом просто нет, он человек без свойств, стерилен, прозрачен. Он рассуждает как бы от имени всех нас, интеллигентов. Совпадение с аудиторией не психологическое, но социальное.

Видимо, поэтому успех Стесина — это нишевый, интеллигентский успех. Плюс всеобщая сегодня симпатия к короткой прозе. Длинное читать некогда, загружать мозг и душу как-то даже негигиенично. То ли дело тут, где сам образ автора симпатичен: дело делает, при этом благополучен, даже успешен, и рефлексировать без надрыва и крайностей, в самую меру. Такая регулярная, упорядоченная рефлексия без отрыва от основной специальности.

Соответственны и стилевые решения — четко, ясно, все слова в правильном порядке. Будто читаешь, прости господи, сайт Сноб или Эсквайр. Вот, например, такое глубокое самонаблюдение: «В последнее время я заметил, что автоматически захожу в Фейсбук и начинаю просматривать френд-ленту всякий раз, когда узнаю о смерти пациента. Это на уровне рефлекса, вроде нервной привычки грызть ногти или чесать голову. Стыдно ловить себя на таком. Но бывает и хуже. Торжественная показуха надгробных речей или другие разглагольствования о жизни и смерти». По-моему, «чесать голову» — это все же как-то не по-русски звучит. Да кстати, и название книги сомнительно, на мой вкус, стилистически. «Обход» с намеком на врачебный — понятно. Но разве говорят по-русски «обход города» (а на этом каламбуре название и строится)?

В общем, это такая легкая, успокоительная проза. А может, и не проза вовсе... Но да, помогает расслабиться, забыть о жгучих вопросах современности и о том, что в правом боку колет, а нога отстегивается. Впрочем, если помрешь между делом, тут о тебе плакать не будут. Вздохнут элегически и откроют френд-ленту.

НОВЫЕ «ДЕТИ АРБАТА»

Полина Дашкова. Горлов тупик. М., АСТ, 2019

Кто не знает — Дашкова давно уже считает себя автором «социальной прозы», напоминание о былых детективных заслугах ее, кажется, даже обижает. Много у нее книг, так сказать, с историческим уклоном. Был у нее, скажем, роман «Пакт» — про тот самый документ 1939 года. Позволим себе заметить, что любой книжный ли, реальный ли маньяк, по части извращений и садизма просто детсадовец в сравнении с героями «Пакта» Гитлером и Сталиным (к реальным историческим деятелям имеющим крайне отдаленное отношение). В рецензируемом романе атмосфера еще мрачнее и насыщеннее.

В романе с неумолимым сладострастием описано, как десятки лет КГБ жестоко преследует простую семью московских интеллигентов, а также отечественную интеллигенцию в целом. Мало того — способствует всему самому плохому в мире, например, расцвету африканского диктатора-людоеда и взрыву в московском метро в 1977 году. Тут уж даже издатель не выдержал — стыдливо заметил в аннотации, что Дашкова работает в жанре АЛЬТЕРНАТИВНОЙ истории.

Ну еще бы! А также — невольно для себя — в жанре трэш-комикса. Взять хотя бы главного отрицательного героя. Как и положено, он сущий дьявол, всемогущий негодяй и садист (а также генерал КГБ). И фамилию-то с именем он носит вполне злодейские — а-ля комиксовый Доктор Зло — Влад Любый.

А почему же он такой нехороший? А потому что ужасный антисемит. И рассуждает примерно так: «Они везде, во всех сферах государственной жизни, опутали густой паутиной экономику, науку, культуру. Они пролезли на самый верх. У Молотова и Ворошилова жены еврейки. У Маленкова дочь была замужем за евреем Шамбергом. Даже семью Самого они испоганили своей кровью. Дочь Светлана вышла за жида. Старший сын Яков женился на Мельцер Юдифи Исааковне. Светлана развелась, Яков погиб

в немецком плену, но осталось потомство. Родные внуки товарища Сталина — жиденята».

Такого рода рассуждения-перечисления, длинные, монотонные, кажется, прямо нескончаемые, в романе занимают десятки страниц. НУ КОНЕЧНО, так рассуждает главный отрицательный герой. Однако это обстоятельство важно лишь для понимания взглядов автора. Для произведения, строящегося на описании мира во власти глобального заговора, характер этого заговора неважен. Хоть еврейский, хоть антиеврейский, хоть гуманоидов с планеты Нибиру — все бытие пронизано его лучами, никто не сможет спастись.

Враги всюду. Враги всемогущи. Их жала и когти нацелены прямо на тебя. Спасение невозможно или является счастливой случайностью.

Непосредственным предшественником и образцом, как можно предположить, для Дашковой служила эпопея Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». КГБ-шник Любый — словно младший брат НКВД-шника Юрия Шарока. Те же способы раскрытия личности (внутренний монолог), те же моральные принципы (вернее, отсутствие оных). Название одной из книг «арбатской эпопеи» Рыбакова — «Страх» — вполне подошло бы и для романа Дашковой.

Рыбакова в свое время не раз упрекали в искажении исторических фактов — Дашкова, собственно, с ними уже не считается вовсе.

Все отдано в жертву идеям, и в главах, относящихся к «семейной хронике» читаем то же бормотание, пришепетывание, словно описывающие не жизнь, а мышиную возню по темным углам коммуналки в заглавном Горловом тупике. Судите сами — «идейную» часть мы уже цитировали, вот часть «бытовая»: «Лена не случайно так напряглась. Перед Новым годом она сдуру пообещала Антону задать деду вопрос о прописке. Тосика заклинило, хотя зачем ему? Был бы провинциал, тогда понятно. Но ведь москвич, и квартира у его родителей вполне приличная. Нет, не стала бы Лена трогать эту тему, ни сегодня, ни завтра. Какая-то она скользкая, гадкая, хочется отдернуться, как от змеи. Но Антон спросит обязательно, и что ответить?»

Причина «технической» неудачи автора понятна. В бытность «чистой детективщицей» Дашкова строила интересные, яркие, но, в соответствии с задачами, картонные декорации — одни из лучших в своем роде. Теперь она попробовала населить их людьми, впустить какую-никакую, но историю. Вот все и развалилось. Что вполне естественно. Произведение обычно и мстит своему создателю за его амбиции и потерю здравого смысла.

МЕЧТЫ ОППОЗИЦИОНЕРА

Дмитрий Захаров. Средняя Эдда. М., АСТ, 2019.

Книга Дмитрия Захарова «Средняя Эдда» — памфлет, направленный против наших нынешних властей в широком спектре от чиновников высокого ранга и силовиков до журналистов и пиарщиков, обслуживающих власть. Как это нередко ведется, сатира облечена в фантастическую форму. Сама по себе идея, сам заход автора кажется остроумным: некий таинственный уличный художник по имени Хиропрактик рисует разоблачительные граффити-карикатуры на власти. Кто из чинов там изображен, тот вскорости и умирает. При этом реальность вокруг все-таки не наша, а скажем так, альтернативная — мужественная оппозиция выводит народ в провинции на 20-тысячные митинги — там льется большая кровь, с оппозиционной молодежью борются отряды добровольцев (которые — ну конечно — оказываются замаскированными агентами властей); да и сами власти уже чуть было не сбежали от народного возмущения. Может, и сбегут, если Хиропрактик их не изведет на корню.

— Ишь, размечтался! — скажет иной. — Протест ему подавай!

Подавай-не подавай, а именно тематика книги привлекла внимание некоторых обозревателей, пропевших ей всяческую хвалу. Да в общем, на то и памфлет, чтобы одних злить, у других вызывать сочувствие и подъем духа. Конечно, на литера-

туру так не реагируют — но это и не вполне литература, более фельетон.

Поэтому плохо, что ближе к финалу автор впадает в тяжелую серьезность и пафос. И тогда его книга, как и всякая литература такого рода, заставляет вспомнить бессмертные «Записки из подполья». Пассаж про «абличения» (как помним, написание слова Достоевский изменил нарочно, издеваясь): «...мне вдруг пришла мысль описать этого офицера в абличительном виде, в карикатуре, в виде повести... Я абличил, даже поклеветал; фамилию я так подделал сначала, что можно было тотчас узнать, но потом, по зрелом рассуждении, изменил и отослал в «Отечественные записки». Но тогда еще не было абличений, и мою повесть не напечатали. Мне это было очень досадно». У нас, как видим, «абличения» печатают вовсю. Не на подпольном ротапринте, а в ведущем издательстве. Уж не говоря о том, как свободно и широко работают оппозиционные медиа. Получающие, по слухам, изрядные куши из государственного кармана.

Собственно, книга Захарова как раз об этом, о мире постправды. И сама она — порождение и часть этого мира, в котором никакого отдельного «оппозиционного дискурса» не существует и в помине. Это все часть большого медиаполя.

Пиарщик (как он представлен в редакционной аннотации) Дмитрий Захаров не знает об этом не может. Поэтому там, где он противопоставляет «хороших» и «плохих» бойцов информационного фронта — он лукавит.

С другой стороны, повторюсь, именно тематика, да и памфлетная бойкость, обеспечивают книге внимание аудитории. Потому что как роман, то есть художественное произведение, «Средняя Эдда» неудачна. Автор хватается то за одно, то за другое. Населяет свою небольшую, в общем, книгу, десятками маловыразительных, случайных персонажей. Бросает выигрышные идеи, не развив их до конца.

Возможно, это просто нехватка опыта. Возможно, амбиции — написать именно «роман», а не памфлет или фельетон. Увы, не получилось.

ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Андрей Геласимов. *Чистый кайф*. М., Городец, 2019.

Удивительно уже то, что знаменитый автор премированных романов, прозаик, имеющий своих поклонников, «влез в шкуру» такого неоднозначного деятеля отечественной поп-сцены, как Баста. Роман написан от его лица (точнее, персонажа по имени Бустер, который поет те же песни, что Баста, и т. п. — ну то есть имя изменено «для порядка»).

Дальше — больше чудес. Жанр книги обозначен автором как «роман-flow». Термин, переводимый (если без нюансов) как «поток», «течение», в рэперском жаргоне — это, собственно, сама «читка» в комплексе с музыкальным сопровождением. Можно предположить, что автор, обозначая жанр своего произведения, подчеркивает его «текучесть», «динамичность», даже выход за рамки повествовательных конвенций. Идеологическую близость к музыкальным пристрастиям героя повествования. Впрочем, в силу многозначности слова flow, можно предположить, что Геласимов имел в виду совсем иное. Например, известную игру для приставки Sony PlayStation 3. По жанру игра относится к симуляторам — симулируется поведение микроорганизма.... Не правда ли, продуктивный поворот для автобиографического жанра!

В романе четыре разновременные локации: Ростов-на-Дону, где герой начинает свою бурную жизнь; монастырь под Псковом, где герой пытается «соскочить» с наркотиков; Москва, где он начинает свою «большую» музыкальную карьеру, — и все это «врезано» в историю о пребывании в Германии в 2016 году. Перемещаясь по Германии, вспоминая о прошлом, размышляя о настоящем и будущем, герой параллельно сочиняет свой главный хит.

Упомянутые четыре временных пласта «Чистого кайфа» очень различаются по степени авторского интереса. Процесс взросления в эпоху 90-х в криминальной столице России, как иногда называли Ростов-на-Дону, среди бандитов, барыг и наркоманов Геласимова явно интересует. Да и то сказать — именно страницы, посвященные подросткам и юношам, лет так

с 12 до 22, — самые сильные во всех книгах Геласимова. И «Чистый кайф» тут не исключение.

Вот тут бы и остановиться. Увы. В следующей части повзрослевший герой-рассказчик пытается избавиться от психологической наркозависимости, укрывшись в глухом монастыре... Вот представьте себе штампы, которые могут вылезти при описании этой ситуации. Все они здесь. Трогательные моменты, впрочем, тоже. Тут и искушения героя, которые он более-менее успешно преодолевает. И негромкий, «мужской», несентиментальный разговор с Богом. И мудрые священники. И мятущиеся «коллеги» героя, также ищущие тут спасения... Описано все это примерно так: «Мужик чему-то смеялся, пацаны орали, а я думал про девушку Юлю со странным телефоном в руке, про несчастную Катю, не понимающую, как дальше жить, оттого что слишком резко перестала быть мамой, и про свою маму, которую не видел уже целый год».

Про «московскую» и «германскую» часть и говорить нечего. Они, похоже, носят служебный характер — чтобы свести концы с концами в конструкции романа. Ну да — избавился от наркотиков и ошибок юности; пробился (как раз про карьеру героя в шоу-бизе — может быть, самое интересное — не написано вообще ничего). Написал мегахит.

Тема наркотиков ко всей этой конструкции словно приклеена сверху. Сначала рассказчик их пробует (описано стыдливо), затем борется с психологической зависимостью и удерживается от рецидивов — иногда прямо в последнюю секунду. «Брось наркотики и будешь как я!» — такова логика романа, который к финалу все больше превращается в «историю одного шедевра» — мегахита «Сансара». Подумайте: целый роман посвящен восхождению к попсовой песенке. Тут Баста, конечно, серьезно подвел Геласимова.

«Будешь как я»? Как кто? Как автор бессмертных строк суперхита «Выпускной»?

Выпускной, и ты в красивом платье,
и тебе вот-вот 17 лет.

Как автор «Сансары», откровенно мелодраматичной и попсовой?

История о том, как некто превратился из крутого, веселого пацана в поп-певца средней упитанности и популярности, ведущего шоу «Голос», и все такое — это, как говорится, обыкновенная история. И довольно грустная. Может, смысл геласимовского эксперимента в создании тонкой сатирической конструкции, и то, что мы принимаем за апологию попсы, это тонкая издевка над нею?

Иначе концы с концами в этом все же ярком (местами) тексте не сходятся.

ГЕНЕРАЛ БЕЗ АРМИИ

*Тимур Кибиров. Генерал и его семья.
Исторический роман. М., Individuum, 2020.*

Первый «большой» роман нашего выдающегося поэта поражает. Кибиров написал не просто несовременную книгу, ее смело можно назвать «винтажной». Если бы «Генерал» вышел 40-45 лет назад, практически слово в слово (без некоторых современных реалий, конечно), никто бы и не удивился. Потому что это образцовый постмодернистский роман, так сказать, раннего этапа развития этого отжившего уже сегодня направления. Сразу вспоминаются Василий Аксенов и Евгений Попов (и примкнувший к ним Виктор Ерофеев), герои того «большого андерграунда». Ну вот знаете, все это — нескончаемый цитатный ряд (ни слова в простоте!), тотальная ирония, автор, появляющийся среди своих персонажей и комментирующий их действия.... И Аксенов, и Попов, и даже куда менее интересный Виктор Ерофеев потом стали писать по-другому, а вот Кибиров (в те годы начинающий поэт) ступил на эту стезю только теперь.

Действие происходит в начале 70-х годов в далеком северном гарнизоне. К генералу со смешной фамилией Бочажок, неказистому с виду, простоватому в душе, но страстному поклоннику классической музыки (какой парадокс!), прилетает из Москвы дочь,

глубоко беременная от безответственного деятеля контр-культуры К. К., чьи стихи, обширно, целыми страницами цитирующиеся в романе, между прочим, в нашей реальности публиковались под именем — кого бы вы думали? Конечно, самого Тимура Кибирова! Автор, как было замечено выше, регулярно появляется в книге и собственной персоной, заводя многословные дискуссии со своими персонажами обо всем на свете. А еще десятками страниц там печатаются «документальные материалы», разоблачающие Совестьскую власть, которую автор, как можно догадаться, горячо ненавидит. Эта горячность опять-таки в 2020 году выглядит довольно несвоевременно.

Название романа, конечно, ернически кивает на книгу Григория Владимова «Генерал и его армия». Столь же ернически выглядит и подзаголовок. По всем раскладам, это не исторический, а именно что антиисторический роман, рисующий ту эпоху фантазмагорично и глубоко субъективно.

При всем том 500 страниц читаются без отрыва. Кибиров берет тем же, чем и в стихах, — своим авторским темпераментом. Равных ему по этому качеству в современной прозе подика позиции. А уж про философские категории так не пишет никто, никто не ведет и споров о вечном на таком градусе. Читатель вовлечен в старую, но по-прежнему увлекательную игру с угадыванием цитат, с восхищением авторской лихостью — «Ну как загнул! А что же дальше будет?» Шутовской хоровод, парад скоморошин, с бляющей козой, крикливой дудкой, рыкающим медведем, несется прямо-таки лавиной.

Стиль соответствующий. Как говорили в то блаженное время, «хулиганский» — это в смысле переплетения в одном абзаце низкого и высокого, мата и поэзии. Ну а по тону — патетически-романтический. Вот например, еще о генерале: «Никогда не мог понять генерал распространенное выражение «свинцовые мерзости жизни» (у Горького, кстати, сказано «свинцовые мерзости дикой русской жизни», ну да ладно). Почему свинцовые-то? Что же в этом металле мерзкого? В сознании Бочажка он был связан или с пулей-дурой, которая смелого боится, или с тяжестью, ни та, ни другая омерзения у Василия Ивановича не вызывали. Свинец смертельный надо было встречать грудью и вести

бой, пусть даже и неравный, до победного конца или до последней капли крови, а тяжесть следовало преодолевать, взваливать на себя, стойко сносить и ни в коем случае не перекладывать на чужие плечи. Какие ж это мерзости? Ровно наоборот. На месте великого пролетарского писателя генерал бы написал «грязные мерзости жизни», или «мерзкая грязь жизни», получилось бы не так красиво, но зато точно!... Ужасный был чистюля Василий Иванович и, как часто за глаза отмечал подполковник Пилипенко, чистоплюй! Просто Мойдодыр какой-то абстрактно-идеалистический, а не советский, умудренный марксистско-ленинской диалектикой командир».

В общем, увлекательное чтение. А что касается несовременности, винтажности и т. п., то эти категории автора должны волновать мало — а Кибирова, похоже, не волнуют вовсе. Да и читателю, в общем, все равно, лишь бы книга была увлекательная и неглупая. «Генерал» точно относится к этому разряду.

ДЕРЖАТЬСЯ КОРНЕЙ

Джон Уильямс. Стоунер. М., Corvus, 2020.

Стойкость и терпение — бытовое, экзистенциальное, любое из возможных. Это девиз нынешнего момента, но это и суть романа Джона Уильямса «Стоунер». Сама судьба книги соответствующая: впервые издана 55 лет назад, замечена не была, и только в начале нового века «выстрелила». Да еще как! Переведена на все языки, названа «величайшим неизвестным американским романом». У нас издана 5 лет назад, сейчас заходит на рынок повторно. Надеюсь, прочитает больше людей — момент располагает.

В книге рассказана история жизни преподавателя литературы из глубокой южной провинции Штатов. Сорок лет он, сын простых фермеров, и сам похожий на них, преподавал в заштатном колледже. Был небогат, жил в неудачном браке, и у дочери судьба не сложилась... Его единственная любовь прошла мимо.

Он только преподавал, только любил свое дело и литературу. И эта любовь, эта преданность делу, спокойные, твердые — поражают.

Ну разве можно так любить свою рутинную работу, не мечтая о большем? Разве можно любить так, прости, господи, литературу? Знаем мы их, ни та, ни другая любви и преданности не заслуживают! Стоунер был уверен в обратном. Ноль истерики. Ноль сомнения в своих принципах (элементарных принципах честного человека). Stoner переводится как «неудачник» (и даже презрительно «укурок», «наркоша») — но и как «камнедробительная машина». Как достойно, спокойно, даже с удовольствием тащить этот тяжеленный камень-жизнь? Так, как делал это Стоунер.

Конечно, этот роман отсылает нас к русской литературе девятнадцатого века. Вот если бы убрать из нее истерики, политику, деньги — а также морализаторство и отвлеченные рассуждения, — добавить грустного юмора и свободы рассуждений, получится «Стоунер». Не надо, конечно, убирать. Мы нашу классику любим — но не так, как вечный доцент Стоунер свою. Автору как-то удалось показать его не сухарем, не занудой, но, извините за банальность, живым, держащим себя в рамках культуры и порядочности человеком. Не случайно в самом конце жизни, в последние ее секунды он получает неожиданную, но логичную и заслуженную символическую награду — и я вам не скажу какую.

Что касается стилистики и самой ткани повествования, то Уильямс блестяще соединил классику и модернизм середины века. Льва Толстого и Уильяма Фолкнера (им обоим он многим обязан). Спустя 55 лет сплав остается актуальным. Повествование идет медленно, но верно — и абсолютно не скучно, тем более что всего-то 300 страниц. И это правильные страницы! Отметим и перевод Леонида Мотылева. Цитата, даже две, из самого начала и самого конца книги: «Хотя его родители, когда он появился на свет, были молоды — отцу исполнилось двадцать пять, матери всего двадцать, — Стоунер даже в детстве думал о них как о стариках. В тридцать отец выглядел на все пятьдесят; сутулый от трудов, он безнадежными глазами смотрел на участок засушливой земли, который позволял семье кое-как перебиваться от года к году. Для матери вся ее жизнь, казалось, была долгим промежутком,

который надо перетерпеть....Желания умирать он не испытывал; но после отъезда Грейс случались минуты, когда он смотрел вперед с нетерпением, как если бы ему предстояло не особенно желанное, но необходимое путешествие. И, как у всякого перед дальней поездкой, у него было чувство, что надо успеть до нее многое сделать; но он не мог сообразить, что именно».

«Стоунер» — роман о человеке, который всегда имел под ногами твердую почву. Даже две — почву своей малой родины и почву культуры. Герой книги смело может быть назван интеллигентом-почвенником. Да, Стоунер реабилитирует своим примером это словечко. Допустим, насчет интеллигентности — это важно для нас, русских. Но именно почвенность Стоуна поразила весь читающий мир. Наличие корней, связь с землей, дающей Стоунеру и силы, и сами принципы, — то, к чему тянутся все, особенно в «минуты роковые».

Художники — участники Великой Отечественной войны

Николай Иванов (1923-1985)



Алтайское лето. 1963

Холст, масло. 119х130. Собственность ГХМАК